

УИЛКИ  
**КОЛЛИНЗ**

*Женщина в белом*

АЗБУКА-КЛАССИКА



Азбука-классика

Уильям Уилки Коллинз

**Женщина в белом**

«Азбука-Аттикус»

1860



УДК 821.111  
ББК 84(4Вел)-44

**Коллинз У.**

Женщина в белом / У. Коллинз — «Азбука-Аттикус»,  
1860 — (Азбука-классика)

ISBN 978-5-389-16916-6

Уильям Уилки Коллинз — классик английской литературы XIX века, вошедший в историю как родоначальник современной детективной литературы. Залогом успеха произведений Коллинза, из-под пера которого вышло двадцать три романа и четыре сборника рассказов и повестей, стало сочетание различных жанров: писатель умело объединял в своих книгах мелодраму, детектив и нравоописательный роман, щедро приправляя их элементами готического романа. Именно в таком стиле написан самый известный роман Коллинза «Женщина в белом». В его основе лежит увлекательный сюжет о мрачном преступлении, тайна которого сокрыта за образом загадочной женщины, одетой в белое платье.

УДК 821.111  
ББК 84(4Вел)-44

ISBN 978-5-389-16916-6

© Коллинз У., 1860  
© Азбука-Аттикус, 1860

## Содержание

Первый период	5
Рассказ начинает Уолтер Хартрайт	5
Рассказ продолжает Винсент Гилмор	70
Рассказ продолжает Мэриан Холкомб	91
Конец ознакомительного фрагмента.	94

# **Уилки Коллинз Женщина в белом**

## **Первый период**

### **Рассказ начинает Уолтер Хартрайт (учитель рисования из Клементс-Инна)**

#### **I**

Это история о том, до чего может простираться терпение женщины, и о том, чего может достигнуть мужчина при твердой решимости.

Если бы при разбирательстве любого подозрительного случая закон подвергался лишь умеренному влиянию всесильного золота, то события, наполняющие эти страницы, привлекли бы внимание широкой публики уже во время судебного разбирательства.

Однако в некоторых, даже самых очевидных, делах правосудие до сих пор еще остается верным слугой туго набитого кошелька; подобный-то случай и будет впервые рассказан на этих страницах. Так же как эту историю мог бы услышать судья, ее сейчас услышит читатель. Все сколько-нибудь важные обстоятельства этой истории, от ее начала до конца, будут переданы со слов очевидцев. Когда пишущему эти вступительные строки (Уолтеру Хартрайту) придется играть в описываемых событиях более важную роль, нежели другим, он расскажет о них сам. Когда же речь пойдет о том, чему он не был свидетелем, он откажется от звания рассказчика и уступит свое место тем, кто был лично знаком с обстоятельствами и кто продолжит его повествование так же ясно и правдиво, с того самого момента, на котором остановится Уолтер Хартрайт.

Таким образом, эту историю будут писать несколько человек, подобно тому как в суде картину преступления воссоздает не один, а несколько свидетелей; в обоих случаях это делается с одной целью, дабы представить истину наиболее точно и обстоятельно и проследить течение событий в целом, предоставляя слово людям, принимавшим в них непосредственное участие, дабы они сами в точности описали то, свидетелями чему они стали.

Первым выслушаем Уолтера Хартрайта, учителя рисования, двадцати восьми лет.

#### **II**

Был последний день июля. Продолжительное жаркое лето приближалось к концу, и мы, усталые пилигримы лондонских мостовых, начинали подумывать о спасительных облаках, дарующих тень над деревенскими просторами, и об осенних ветрах на морском берегу.

Что касается моей скромной персоны, то уходящее лето оставляло меня в плохом состоянии здоровья, не слишком хорошем расположении духа и, по правде сказать, почти без денег. В течение года я не так осторожно, как обычно, распоряжался своим заработком; вследствие такой расточительности мне предстояла грустная перспектива проводить осень экономно: то в коттедже моей матери в Хэмпстеде, то в моей собственной комнате в Лондоне.

Помнится, вечер был тихий и облачный; удушливый воздух опускался на улицы; отдаленный шум улиц стихал; все слабеющий в моем теле пульс и биение сердца огромного города,

казалось, звучали в унисон, становясь все тише и тише по мере того, как заходило солнце. Я оторвался от книги, над которой больше мечтал, нежели читал ее, и вышел из моей комнаты подышать прохладным ночным воздухом пригородов. Это был один из двух вечеров, которые я обычно каждую неделю проводил с моей матерью и сестрой. Таким образом, я направил свои стопы на север, по направлению к Хэмпстеду.

Происшествия, о которых я буду рассказывать, ставят меня перед необходимостью упомянуть здесь, что отец мой умер за несколько лет до описываемых событий и что из пятерых детей его в живых оставались только я и моя сестра Сара. Отец был учителем рисования. Своими стараниями он достиг большого успеха в профессии. Неусыпно заботясь о том, чтобы обеспечить будущность тех, чье существование зависело от его трудов, он тотчас же после женитьбы застраховал собственную жизнь на весьма значительную сумму, употребив на это гораздо большую часть своего дохода, чем это делают обычно. Благодаря удивительному благоразумию и самоотверженности отца моя мать и сестра остались после его смерти в таком же независимом положении, в каком находились и при его жизни. Я наследовал уроки отца после его смерти и был крайне признателен за открытую им передо мной перспективу в жизни.

Тихий сумрачный свет еще трепетал на живых изгородях, а Лондон потонул в темной бездне хмурой ночи, когда я остановился перед калиткой матушкиного коттеджа. Не успел я позвонить, как дверь распахнулась и передо мной, вместо служанки появился мой достойный друг, итальянец, профессор Песка. Он весело встретил меня, громко выкрикивая нечто, что лишь отчасти походило на английское приветствие.

Собственно, личность профессора сама по себе заслуживает того, чтобы я представил его читателям. К тому же волею случая с него началась та таинственная семейная история, которой будут посвящены следующие страницы.

Я познакомился с моим другом в одном из богатых домов, где он давал уроки своего родного языка, а я – рисования. Из истории его жизни мне было известно только то, что некогда он преподавал в Падуанском университете, потом оставил Италию по политическим причинам (сути которых никому не хотел объяснять) и что вот уже много лет он живет в Лондоне, преподавая иностранные языки.

Не будучи в настоящем смысле слова карликом – поскольку он был прекрасно сложен с головы до ног, – Песка был, по-моему, самым крошечным человеческим существом, какого только мне доводилось видеть в жизни. Однако среди прочих людей в большей степени он выделялся не своей примечательной внешностью, а безвредной эксцентричностью характера. Главная цель его жизни состояла, кажется, в том, чтобы выразить свою признательность стране, которая предоставила ему убежище и средства к существованию, ради чего он прилагал все силы, чтобы стать настоящим англичанином. Он не довольствовался тем, что из уважения к английской нации постоянно носил с собой зонтик и ходил в гамашах и цилиндре. Профессор изо всех сил стремился не только выглядеть англичанином, но и усвоить все исконно английские обычаи и развлечения. Полагая, что мы как нация отличаемся особой любовью к атлетическим упражнениям, маленький человечек, с присущей его сердцу наивностью, страстно увлекался всеми чисто английскими спортивными забавами, твердо убежденный, что он может постигнуть их одним усилием воли точно так же, как он приспособился к нашим национальным гамашам и цилиндрам.

Мне доводилось видеть, как профессор слепо рисковал своими конечностями на охоте на лисиц и на поле для крикета; а вскоре после этого я стал свидетелем того, как он столь же слепо рисковал своей жизнью на море в Брайтоне.

Мы встретились там случайно и отправились купаться вместе. Если бы мы занялись каким-нибудь чисто английским спортом, я, разумеется, должен был бы присмотреть за Пеской, но так как иностранцы обычно чувствуют себя в воде не хуже нас, англичан, то мне и в голову не пришло, что для Пески искусство плавания служило дополнением к длинному

списку упражнений, которым профессор, по его мнению, мог обучиться экспромтом, по наитию. Вскоре после того, как мы оба отплыли от берега, я остановился, заметив, что мой приятель отстал, и обернулся взглянуть на него. К моему ужасу и удивлению, я не увидел между мной и берегом ничего, кроме двух маленьких белых рук, которые с минуту барахтались на поверхности воды, а потом исчезли из виду. Когда я нырнул, чтобы вытащить Песку, бедняжка лежал меж камней на дне, свернувшись в комочек, отчего казался еще более крошечным, чем всегда. Понадобилось несколько минут, чтобы вытащить его; воздух оживил профессора, и с моей помощью он смог взойти на ступени кабинки машины. Вместе с жизнью к нему снова вернулась его бредовая идея относительно плавания. Едва стучащие зубы позволили ему заговорить, он неопределенно улыбнулся и заявил, что, вероятно, у него случились судороги.

Придя в себя совершенно, он присоединился ко мне на берегу, искусственная английская сдержанность в одно мгновение уступила место его страстному южному темпераменту. В самых восторженных выражениях Песка снова и снова благодарил меня за спасение; страстно, в склонной к преувеличениям итальянской манере он восклицал, что отныне отдает в мое распоряжение всю свою жизнь, объявлял, что не будет счастлив до тех пор, пока не найдет случая доказать мне свою признательность услугой, которую я, в свою очередь, запомню до конца моих дней.

Я всеми силами старался остановить поток его слез и уверений, настойчиво представляя это приключение не более чем предметом для шутки; наконец мне, по-видимому, удалось несколько охладить в нем чувство признательности. Не думал я тогда, как не думал и после, когда наши веселые каникулы подходили к концу, что случай оказать мне услугу, случай, которого так страстно жаждал мой признательный товарищ, скоро наступит; что он с жаром ухватится за него и что, поступив таким образом, он повернет весь поток моей жизни в новое русло, а меня самого изменит до неузнаваемости.

Случилось именно так. Если бы я не нырнул, чтобы вытащить профессора Песку, когда он лежал под водой на своем каменном ложе, я, по всей вероятности, никогда не участвовал бы в истории, описываемой на этих страницах, и, может статься, никогда не услышал бы даже имени женщины, которой отныне посвящены все мои помыслы, которая завладела всей моей энергией, сделалась единственным руководящим началом, управляющим всей моей жизнью.

### III

По выражению лица и поведению Пески, встретившего меня на пороге матушкиного коттеджа, я сразу понял, что случилось нечто необыкновенное. Однако просить у него немедленного объяснения было совершенно бесполезно. Пока он тащил меня за обе руки в комнату, я мог только предполагать, что, зная мои привычки, он пришел в коттедж, дабы встретиться со мной в этот вечер и сообщить мне какие-то чрезвычайно приятные новости.

Мы вбежали в гостиную самым бесцеремонным, шумным образом. Матушка сидела у открытого окна и смеялась, обмахиваясь веером. Песка был ее любимцем, и она снисходительно смотрела на все его сумасбродства. Дорогая матушка! С первой минуты, когда ей стало известно, как глубоко и признательно Песка привязан к ее сыну, она раскрыла для маленького профессора свое сердце и принимала все его непонятные чужеземные выходки за нечто само собой разумеющееся, не пытаясь постигнуть их смысла.

Сестра моя Сара, несмотря на все преимущества юности, была – и это довольно странно – не так сговорчива. Она отдавала должное превосходным душевным качествам Пески, но не могла принять его целиком, безусловно, как это делала матушка. Чисто английские представления Сары о приличиях пробуждали в ней негодование против врожденного презрения Пески к этим приличиям, она всегда, более или менее явно, выражала свое удивление матушкиной снисходительностью по отношению к эксцентричному маленькому иностранцу. По моим

наблюдениям, впрочем, не только моя сестра, но и другие представители нового поколения совсем не так радушны и доброжелательны, как наши старики. Мне часто доводилось видеть, как старые люди были взволнованы, радостно предвкушая какое-нибудь невинное удовольствие, в то время как оно нисколько не трогало их бесстрастных внуков. Желал бы я знать, такие же ли мы теперь, искренние юноши и девушки, какими были наши отцы и матери в свое время? Не слишком ли больших успехов достигло воспитание? Не слишком ли хорошо мы нынче воспитаны?

Не решаясь ответить на эти вопросы однозначно, я могу, по крайней мере, сказать, что в те минуты, когда я видел мою мать и сестру в обществе Пески, матушка мне казалась гораздо моложе моей сестры. Так и на этот раз: в то время как матушка искренне хохотала над нашим мальчишеским вторжением в гостиную, Сара угрюмо подбирала осколки чашки, опрокинутой профессором со стола, когда он стремглав бросился встречать меня.

– Не знаю, что и случилось бы, Уолтер, если бы ты промедлил долее, – сказала матушка. – Песка чуть с ума не сошел от нетерпения, а я – от любопытства. Профессор принес какие-то удивительные новости, которые касаются тебя, и, вообрази, был так жесток, что не хотел сообщить их нам до тех пор, пока не появится его друг Уолтер.

– Какая досада! Сервиз теперь испорчен! – прошептала про себя Сара, грустно разглядывая осколки разбитой чашки.

В это время Песка, не отдавая себе отчета в совершенном проступке, выдвинул большое кресло на середину комнаты, дабы предстать перед нами настоящим оратором, обращающимся с речью к публике. Развернув кресло к нам спинкой, он вскарабкался на него и с этой импровизированной кафедры обратился к нам со следующими словами:

– Ну, мои добрые, дорогие друзья, – (он всегда говорил «мои добрые, дорогие друзья», когда хотел сказать «мои бесценные друзья»), – слушайте меня. Настало время... Я объявляю мое приятное известие... Я наконец могу говорить.

– Слушайте, слушайте! – вскричала матушка, подхватывая шутку своего любимца.

– Ну вот, теперь он разломает спинку нашего лучшего кресла, мама, – шепнула Сара.

– Я вернусь в прошлое, чтобы оттуда вновь обратиться к благороднейшему из существ, – продолжал Песка, яростно указывая из-за спинки кресла на мою недостойную персону. – Кто нашел меня мертвым на дне морском (по милости судорог)? Кто вытащил меня из воды? И что я сказал, когда снова возвратился к жизни и моей одежде?

– Гораздо более, нежели было нужно, – отвечал я как можно угрюмее, потому что малейшее поощрение в подобных случаях неизбежно вызывало у разволновавшегося профессора потоки слез.

– Я сказал, – настаивал Песка, – что отныне моя жизнь принадлежит моему дорогому другу Уолтеру, – так оно и есть. Я сказал, что я не буду счастлив до тех пор, пока мне не выпадет случай сделать для Уолтера что-нибудь хорошее, – и действительно, я не мог обрести покой до нынешнего блаженного дня. Сегодня, – воскликнул восторженный маленький человечек пронзительным голосом, – избыток счастья вырывается из каждой поры моего тела, потому что, клянусь моей верой, душой, честью, обещание мое наконец исполнено, и вот, что я еще имею сказать: «Все-все хорошо!» Среди знатных лондонских домов, где я преподаю мой родной язык, – без всякого предисловия начал профессор свое долго откладываемое объяснение, – есть один в высшей степени знатный, на площади Портленд. Вы все знаете, где это! Да, да, разумеется! В прекрасном доме, мои милые друзья, живет прекрасное семейство. Мама – толстая и красивая, три дочки – толстые и красивые, два сына – толстых и красивых, и папá – самый толстый и красивый из всех, богатый купец, купающийся в своих миллионах. Некогда он слыл красавцем, но так как теперь у него лысина и двойной подбородок, то он уже более красавцем называться не может. Теперь слушайте! Я учу молодых девиц понимать великого Данте. И, помилуй меня Господь, нет слов, чтобы выразить, как труден великий Данте для этих



трех хорошеньких головок! Но это ничего, все придет в свое время; чем больше уроков, тем лучше для меня. Теперь слушайте! Представьте себе, что сегодня я занимаюсь с барышнями, как обычно. Мы все четверо спустились в ад Данте. В седьмом кругу – впрочем, для трех толстых и красивых барышень все круги равны! – мои ученицы завязли, а я, чтобы помочь им выбраться, объясняю, рассказываю, выхожу из себя от бесполезного энтузиазма, как вдруг в передней раздается скрип сапог и входит Золотой папá, богатый купец с лысиной и двойным подбородком. Ну вот, мои милые друзья, я ближе к сути моего рассказа, чем вы думаете! Осталась ли у вас еще хоть капля терпения, или вы уже сказали про себя: «Черт побери, неужели Песка сегодня не закончит!»

Мы заявили, что нам очень интересно.

Профессор продолжил:

– Золотой папá держал в руке письмо; извинившись, что помешал нам в нашей адской обители из-за простого земного дела, он обратился к трем барышням и начал, как вы, англичане, начинаете все ваши разговоры, громким «О!». «О мои милые! – сказал богатый купец. – Я получил сегодня письмо от моего друга мистера...» Имя выскользнуло у меня из памяти, но не беда: мы еще вернемся к нему, да-да, именно! Итак, папá сказал: «Я получил письмо от моего друга мистера такого-то... Он просит меня рекомендовать учителя рисования к нему в имение». Господи помилуй! Когда я услышал эти слова, я готов был броситься на шею к Золотому папá, если бы только я был повыше и мог до нее достать, чтобы прижать его к своей груди крепко и признательно, но я только подпрыгнул на своем стуле. Я сидел как на иголках, душа моя горела и рвалась, мне хотелось заговорить, но я прикусил язык и дал папá закончить. «Быть может, вы знаете, – сказал этот богач, помахивая письмом своего друга, – быть может, вы знаете, мои милые, какого-нибудь учителя рисования, которого я мог бы рекомендовать?» Барышни переглянулись между собой, а потом ответили с неизменным «О!» в начале: «О нет, папá! Но вот мистер Песка...» Услышав свое имя, я уже не мог больше сдерживаться – мысль о вас, мои дорогие, заполонила все мое сознание, – я вскочил со стула как ужаленный и обратился к богатому купцу, как настоящий англичанин: «Дорогой сэр, я знаю такого человека! Отличнейшего учителя рисования, другого такого не сыскать в целом свете! Рекомендуйте его с сегодняшней же почтой, а завтра, с утренним поездом, отправьте и его самого, со всеми его пожитками». (Ха! Еще один чисто английский оборот!) «Постойте, постойте! – сказал папá. – Иностранец он или англичанин?» – «Англичанин до кончиков ногтей», – ответил я. «Порядочный человек?» – спросил папá. «Сэр, – сказал я (потому что последний вопрос оскорбил меня и я прекратил с богачом дружественный тон), – сэр, бессмертный огонь гениальности горит в груди этого англичанина, но что еще важнее, он горел и в груди его отца!» – «Пустяки, – сказал этот Золотой варвар-папá, – нам нет дела до его гениальности, мистер Песка. В нашей стране мы не нуждаемся в гениальности, если только она не идет рука об руку с порядочностью, а когда это случается именно так, мы рады, очень рады, право! Может ваш друг представить рекомендательные письма, которые свидетельствовали бы в его пользу?» Я небрежно махнул рукой и воскликнул: «Рекомендательные письма? Господи помилуй, ну конечно! Целые тома рекомендательных писем, если вам угодно!» – «Одного или двух будет вполне достаточно, – сказал этот флегматичный богач. – Пусть пришлет их мне, указав свое имя и адрес. Постойте, постойте, мистер Песка, возьмите записку об условиях работы – о том, что он должен будет делать... Продолжайте урок, мистер Песка, а я дам вам необходимую выписку из письма моего друга». И вот обладатель товаров и денег берется за перо, чернила и бумагу, в то время как я со своими тремя ученицами вновь погружаюсь в Дантов ад. Через десять минут выписка готова, и скрип сапог папá стихает в отдалении. С этого момента, клянусь моей верой, душой и честью, я позабыл обо всем! Блаженная мысль о том, что я наконец дождался случая и могу услужить моему дражайшему другу, вскружила голову и опьянила меня. Как я вытащил трех барышень и самого себя из адской обители, как провел потом другие свои занятия, как проглотил свой

скромный обед – обо всем этом я знаю не более, чем человек с Луны. Для меня довольно и того, что я здесь, перед вами, с запиской богатого купца в руках, необъятный, как жизнь, горячий, как огонь, и счастливый, как король! Ха-ха-ха! Прекрасно! Прекрасно!

Тут профессор замахал над головой запиской об условиях и закончил свой длинный и многосложный рассказ пронзительной итальянской пародией на английское радостное «ура».

Едва он замолчал, матушка встала со своего места, с разгоревшимися щеками и блестящими глазами. Она с жаром схватила профессора за обе руки и произнесла:

– Мой милый, добрый Песка, я никогда не сомневалась в вашей истинной привязанности к Уолтеру, но теперь убедилась в ней еще больше, чем прежде.

– Мы очень обязаны профессору за Уолтера, – добавила Сара.

С этими словами она привстала, словно намереваясь в свою очередь подойти к креслу Пески; но, увидев, что Песка с восхищением целует руки моей матушки, приняла серьезный вид и снова села на свое место. «Если этот фамильярный человек таким образом ведет себя с матушкой, как же он будет вести себя со мной?» Иногда на человеческих лицах отражаются самые сокровенные мысли. Несомненно, Сара думала именно так, когда садилась.

Хотя я и был признателен Песке за его старания оказать мне услугу, меня не очень обрадовала неожиданно открывшаяся перспектива. Когда профессор перестал целовать руки матушки, я горячо поблагодарил его и попросил позволения взглянуть на условия, которые его уважаемый патрон записал для меня.

Песка торжественно вручил мне бумагу.

– Читайте! – воскликнул маленький человечек, принимая величественный вид. – Уверяю вас, друг мой, что записка Золотого папа говорит сама за себя.

Условия были изложены откровенным и весьма доступным образом.

Меня уведомляли: во-первых, что Фредерик Фэрли, эсквайр, из Лиммеридж-Хауса в Камберленде, желает иметь искусного учителя рисования сроком на четыре месяца. Во-вторых, что обязанности, которые учитель должен взять на себя, будут двоякого рода: обучать двух молодых леди искусству писать акварели, а в свободное время приводить в порядок ценную коллекцию рисунков, находящуюся в настоящий момент в крайнем небрежении. В-третьих, что жалованье человеку, который возьмется должным образом исполнить вменяемые ему обязанности, – четыре гиней в неделю; что он должен жить в Лиммеридж-Хаусе и что с ним будут обращаться как с джентльменом. В-четвертых и в последних, что претендовать на это место может лишь тот, кто в состоянии представить самые подробные рекомендации в отношении своей личности и профессиональных знаний. Рекомендательные письма должны быть отосланы другу мистера Фэрли в Лондон, который уполномочен заключить договор. Записку завершали имя и адрес купца, в доме которого Песка давал уроки.

Безусловно, это было очень соблазнительное предложение. Работа, по-видимому, обещала быть легкой и приятной; к тому же мне предлагали ее на осень, а в это время года я был обычно наименее занят; да и вознаграждение, насколько я мог судить по собственному опыту, отличалось удивительной щедростью. Я понимал все это; я понимал, что я должен радоваться, если мне удастся получить это место. Однако, едва прочитав условия, я почувствовал какое-то необъяснимое нежелание браться за эту работу. Никогда прежде я не испытывал такого мучительного и необъяснимого разлада между моим долгом и моими желаниями.

– О Уолтер, твоему отцу никогда не выпадала такая удача! – сказала матушка, в свою очередь прочитав записку с условиями и вернув ее мне.

– Лестно познакомиться с такими знатными людьми, – заметила Сара, выпрямившись на стуле, – да еще быть с ними на равной ноге!

– Да-да, условия во всех отношениях довольно заманчивы, – перебил я ее нетерпеливо, – но прежде чем я отправлю рекомендации, я хочу все обдумать...

– «Обдумать!» – воскликнула матушка. – Уолтер, что с тобой?

– «Обдумать!» – эхом вторила матушке сестра. – Какие странные вещи ты говоришь, когда предлагаются такие условия!

– «Обдумать!» – подхватил профессор. – Что здесь обдумывать? Отвечайте мне! Разве вы не жаловались на плохое самочувствие и не мечтали подышать деревенским воздухом? Ну?! В ваших руках бумага, предлагающая вам это удовольствие на целых четыре месяца. Не так ли? Кроме того, вам нужны деньги. Ну?! Разве четыре гиней в неделю ничего не значат? Господи помилуй! Дайте их мне, и мои сапоги заскрипят так же, как у Золотого папá, который подавляет всех своим богатством. Четыре гиней в неделю, и к тому же очаровательное общество двух молодых леди! Более того, вы получаете постель, завтраки, ужины, великолепные английские чаепития и ленчи и пенящееся пиво – и все это даром! Ну же, Уолтер, мой добрый, милый друг, какого черта, первый раз в жизни я не могу надивиться на вас!

Но ни искреннее недоумение матушки, вызванное моим поведением, ни пылкое перечисление Пески всех предлагаемых мне благ не могли поколебать моего странного нежелания ехать в Лиммеридж. Все изложенные мной доводы против поездки в Камберленд, какие только могли прийти мне в голову, к моему великому огорчению, были отвергнуты, тогда я упомянул о последнем препятствии, спросив, что станет с моими учениками из Лондона, пока я буду учить молодых девиц мистера Фэрли рисовать с натуры. На это мне возразили, что бо́льшая часть учеников на осень разъедется, а тех немногих, кто останется в городе, я вполне могу поручить одному из своих коллег, чьих учеников я однажды брал на попечение при подобных же обстоятельствах. Сестра напомнила мне, что он предлагал свою помощь на случай, если бы мне нынче вздумалось уехать из Лондона. Матушка уговаривала меня не вредить из пустого каприза моим собственным интересам и здоровью, а Песка жалобно молил, чтобы я не огорчал его отказом от услуги, которую он предлагает своему другу, спасшему ему жизнь, в качестве благодарности.

Искренняя любовь и привязанность, стоявшие за этими уговорами, тронули бы любого, в ком живо еще сердце. Я устыдился своего необъяснимого предубеждения, хоть и не мог побороть его, и мирно закончил спор, пообещав сделать все, чего от меня ожидали.

Остаток вечера прошел довольно весело в многочисленных предположениях насчет моей будущей жизни с двумя молодыми девушками в Камберленде. Песка, вдохновленный нашим национальным грогом, который, по-видимому, самым чудесным образом бросился ему в голову, предъявил свои права на то, чтобы его считали настоящим англичанином; один за другим он произносил спичи и провозглашал тосты за здоровье моей матери, здоровье моей сестры, мое здоровье, а также здоровье мистера Фэрли вкупе со здоровьем двух молодых леди, причем тут же восторженно благодарил самого себя от лица всех нас.

– Скажу вам по секрету, Уолтер, – заявил мой маленький друг, когда мы возвращались вместе домой, – я в восторге от своего красноречия. Мою душу переполняет честолюбие. Наступит день, и я вступлю в ваш парламент. Стать достопочтенным Пеской, членом парламента, – вот мечта всей моей жизни!

На следующее утро я послал рекомендательные письма патрону Пески на Портленд-Плейс. Прошло три дня, и я уже было решил, в душе испытывая удовольствие, что мои рекомендации оказались недостаточными. Однако на четвертый день я получил письмо, в котором сообщалось, что мистер Фэрли принимает мои услуги и просит меня немедленно выехать в Камберленд. Все подробности относительно моего путешествия были заботливо объяснены в постскрипуме.

С большой неохотой я собрал вещи, чтобы рано утром на следующий день покинуть Лондон. Ближе к вечеру, по дороге в гости, ко мне зашел попрощаться Песка.

– В ваше отсутствие, – весело сказал профессор, – я буду утешаться мыслью, что именно с моей легкой руки ваша карьера пошла в гору. Поезжайте, мой друг! Когда ваше солнце засияет в Камберленде, ради бога, не упускайте случая: женитесь на одной из двух молодых девиц,

получите в наследство тучные земли Фэрли и сделайтеся достопочтенным Хартрайтом, членом парламента, а когда окажетесь на самой вершине, вспомните, что все это сделал Песка там, внизу!

Я попытался рассмеяться над прощальной шуткой моего маленького друга, но тщетно. Отчего-то в груди у меня болезненно щемило, пока профессор произносил свое напутствие.

Все было готово к отъезду, осталось только пойти в хэмпстедский коттедж проститься с матушкой и Сарой.

#### IV

Весь день нас мучил изнуряющий зной, и даже к ночи жара ничуть не спала.

Матушка и сестра так много хотели сказать мне на прощание, столько раз просили меня остаться еще на пять минут, что было уже около полуночи, когда слуга затворил за мной калитку сада. Я сделал несколько шагов по кратчайшей дороге в Лондон и остановился в нерешительности.

Полная яркая луна плыла по темному беззвездному небу; холмистая местность, поросшая вереском, в таинственном свете луны казалась дикой, словно я находился за сотню миль от большого города. Мысль вскоре вернуться в жаркий и мрачный Лондон вызывала у меня отвращение. Перспектива ночевать в комнате, лишенной воздуха, представлялась в моем тревожном расположении духа и тела тем же, что сознательно согласиться на постепенное удушение. Я решил пройтись по свежему воздуху, для чего выбрал самый дальний путь в Лондон через продуваемую легким ветерком вересковую пустошь, с тем чтобы вернуться в город со стороны его наиболее открытого предместья по финчлейской дороге и по утренней прохладе пробраться к себе домой, на западную сторону Риджентс-парка.

Я медленно шел через холмистую пустошь, наслаждаясь торжественной тишиной природы и любясь мягкими переливами лунного света и теней по обе стороны от меня. Пока я проходил по первой и самой красивой части моей ночной прогулки, душа моя бессознательно воспринимала впечатления, которые производила на меня природа, я ни о чем не думал, решительно ни о чем.

Однако стоило мне свернуть на проселочную дорогу, где было менее красиво, как в голове моей мелькнула мысль о приближавшей перемене в моих привычках и занятиях, и эта мысль мало-помалу захватила меня целиком. Когда я дошел до конца дороги, я был уже полностью поглощен радужными мечтами о Лиммеридже, мистере Фэрли и двух молодых леди, чьим наставником я вскоре стану.

Я остановился на перекрестке, отсюда четыре дороги расходились в разные стороны: в Хэмпстед, откуда я шел, в Финчли, в Вест-Энд и в Лондон. Я машинально свернул на последнюю и зашагал по пустынной дороге, беспечно размышляя, насколько мне припоминается, какими предстанут моим глазам камберлендские леди, как вдруг кровь в моих жилах застыла от прикосновения чей-то руки, легко и внезапно коснувшейся моего плеча.

Я резко обернулся, крепче сжимая в руке трость.

Передо мной, возникшая словно из ниоткуда, в полном одиночестве стояла женщина, с ног до головы одетая во все белое. На ее обращенном ко мне лице застыл вопрос, в то время как рукой женщина указывала на мрачное облако, нависшее над Лондоном. Неожиданность, с какой это необыкновенное существо очутилось передо мной ночью и в таком пустынном месте, до того испугала меня, что я не мог проронить ни слова. Странная женщина заговорила первой.

– Это дорога в Лондон? – спросила она.

Я внимательно поглядел на нее, когда она задала мне этот вопрос. Было около часа ночи. Лунное сияние позволило мне ясно различить только бледное, молодое, изможденное лицо незнакомки, ее большие печальные, пристально смотревшие на меня глаза, нервные, трепетав-

шие губы и белокурые волосы светло-каштанового оттенка. В ее поведении не было ничего грубого или неприличного: она была тиха и сдержанна, немного грустна и немного настороженна. Манерами она не походила на знатную даму, но в то же время ее нельзя было назвать простолюдинкой. Ее голос, хотя я слышал его так мало, звучал изумительно ровно и как-то механически, говорила она очень быстро. В руке незнакомка держала небольшую сумочку; ее одежда – шляпка, шаль и платье – были из белой и, по всей вероятности, не из самой дорогой ткани. Она была несколько выше обыкновенного роста, тонка и стройна; походка и движения ее не отличались никакой особенностью. Вот все, что я мог заметить при тусклом свете луны, еще не придя в себя от ошеломляющих обстоятельств нашей встречи. Кто была эта женщина и как очутилась она одна на большой дороге в час ночи, я решительно не мог догадаться. Я был уверен лишь в том, что никто не увидел бы в ее вопросе, даже заданном в столь поздний час и в столь подозрительном месте, дурных намерений.

– Вы слышите? – проговорила она спокойно и быстро, без малейшей тревоги или нетерпения. – Я спросила вас, это дорога в Лондон?

– Да, – ответил я, – эта дорога ведет к Сент-Джонс-Вуду и к Риджентс-парку. Извините, что я не ответил вам сразу. Меня чрезвычайно изумило ваше внезапное появления на дороге, даже теперь я все еще не могу объяснить его себе.

– Вы не подозреваете меня в чем-нибудь дурном, нет? Я не сделала ничего плохого. Со мной случилось кое-что. И мне очень неприятно, что я здесь одна в такое позднее время. Почему вы подозреваете меня в чем-то дурном?

Она говорила с необыкновенной серьезностью и волнением и даже отступила от меня на несколько шагов. Я поспешил успокоить ее.

– Пожалуйста, не думайте, что я подозреваю вас, – сказал я. – Напротив, я хотел бы помочь вам, если это в моих силах. Просто я удивился, увидев вас на дороге, ведь за минуту до вашего появления она казалась мне пустой.

Незнакомка обернулась и указала мне на пролом в изгороди там, где соединялись лондонская и хэмпстедская дороги.

– Я услышала ваши шаги, – сказала она, – и притаилась посмотреть, что вы за человек, прежде чем решиться заговорить с вами. Меня терзали сомнение и страх, пока вы не прошли мимо, а потом уже мне не оставалось ничего другого, как побежать за вами следом и дотронуться до вас.

«Побежать следом и дотронуться до меня»? Почему же не окликнуть? Странно, если не сказать более!

– Могу я довериться вам? – спросила незнакомка. – Ведь вы не думаете обо мне ничего худого, оттого что со мной случилось кое-что неприятное?..

Она замолчала в замешательстве, переложила сумочку из одной руки в другую и горько вздохнула.

Одиночество и беспомощность этой женщины тронули меня. Естественное побуждение помочь ей преодолело во мне здравый смысл, осторожность и светский такт, которые человек опычнее, благоразумнее и хладнокровнее меня непременно призвал бы к себе на помощь при таких странных обстоятельствах.

– Вы можете довериться мне целиком и полностью, – ответил я. – Если вам неприятно объяснять мне, почему вы оказались здесь, не возвращайтесь к этому предмету. Я не имею права требовать от вас объяснений. Скажите, чем я могу вам помочь, и я помогу, если это будет зависеть от меня.

– Вы очень добры, и я очень-очень рада, что встретила с вами. – (Впервые я услышал нечто похожее на женскую нежность в голосе незнакомки, но в ее больших, устремленных на меня глазах не блеснула ни одна слезинка.) – Я была в Лондоне лишь однажды, – продолжала она все быстрее и быстрее, – и совсем не знаю дороги к нему с этой стороны. Можно



ли нанять пролетку или какой-нибудь другой экипаж? Или уже слишком поздно? Я не знаю... Если бы вы могли указать мне, где я могу нанять карету, но обещайте не удерживать меня, когда я захочу оставить вас... В Лондоне у меня есть приятельница, которая будет рада принять меня... Больше мне ничего не нужно... Вы обещаете? – Незнакомка тревожно посмотрела на дорогу, снова переложила сумочку из одной руки в другую и повторила, устремив на меня взгляд, полный мольбы и отчаяния: – Вы обещаете? – Ее слова глубоко взволновали меня.

Что мне было делать? Передо мной стояла незнакомка, взывающая к моему состраданию, и эта незнакомка была в отчаянном положении. Поблизости ни дома, ни человека, с кем я мог бы посоветоваться, и притом никакое право на свете не давало мне власти над ней, если бы даже я знал, как употребить эту власть. Я пишу эти строки, не вполне доверяя самому себе: последующие события мрачной тенью ложатся на бумагу, на которой я пишу; но все-таки я повторяю: что мне было делать?

Я стал расспрашивать незнакомку, чтобы попытаться выиграть время.

– Уверены ли вы, что ваша приятельница в Лондоне примет вас в такой поздний час? – спросил я.

– Совершенно уверена. Но обещайте же, что вы позволите мне оставить вас, когда я того захочу, и не станете удерживать меня. Обещаете?

Повторив эти слова в третий раз, незнакомка подошла ко мне и с мягкой настойчивостью положила свою руку мне на грудь. Я отвел ее и почувствовал, что эта рука была холодна, даже в такую жаркую ночь. Не забудьте, я был молод, а рука, дотронувшаяся до меня, была рукой женщины.

– Вы обещаете? – повторила свой вопрос незнакомка.

– Да.

Одно слово! Такое короткое и такое привычное, срывающееся с губ любого человека ежечасно! О! Я и теперь еще дрожу, когда пишу эти строки.

Мы направились к Лондону, мы шли вместе в этот первый тихий час нового дня – я и эта женщина, чье имя, характер, прошлое, будущие намерения, даже само присутствие ее здесь, в эту минуту, были для меня непроницаемой тайной. Все происходящее казалось сном. Я ли это? Та ли это известная всем, ничем не примечательная дорога, по которой по воскресеньям прогуливается столько людей? Действительно ли не прошло и часа, как я покинул такой спокойный и такой уютный коттедж моей матушки? Я был слишком потрясен, душу бередило нечто похожее на упрек совести, несколько минут я никак не мог заговорить с моей странной спутницей.

И снова она первой прервала царившее между нами молчание.

– Я хочу спросить вас, – сказала она неожиданно, – у вас много знакомых в Лондоне?

– Да, много.

– Много знатных и титулованных людей?

В тоне, каким был задан этот странный вопрос, слышались недоверчивость и подозрение.

– Да, я знаком с некоторыми из них, – ответил я после минутного молчания.

– А много... – осеклась вдруг незнакомка и взглянула мне прямо в лицо, – много среди них баронетов?

Слишком удивленный, чтобы отвечать, я поинтересовался в свою очередь:

– Почему вы спрашиваете меня об этом?

– Видите ли, ради собственного спокойствия я надеюсь, что есть один баронет, которого вы не знаете.

– Вы скажете, как его зовут?

– Не могу... не смею... я забылась, когда упомянула о нем.

Незнакомка произнесла последние слова громко, гневно вскинула свою сжатую в кулак руку и вспыльчиво погрозила ею небу, но вдруг справились со своим волнением и уже шепотом добавила:

– Скажите, с кем из них вы знакомы?

Я не мог отказать ей в такой безделице и назвал три имени, два из которых принадлежали отцам моих учениц, а одно – холостяку, который как-то взял меня в плавание на свою яхту, чтобы я делал для него зарисовки.

– Вы его не знаете, – сказала она со вздохом облегчения. – А сами вы знатный человек?

– Если бы. Я всего-навсего учитель рисования.

Когда этот ответ, прозвучавший, быть может, с некоторой горечью, сорвался с моих губ, незнакомка схватила меня за руку с порывистостью, свойственной всем ее движениям.

– Не знатный... – прошептала она почти про себя. – И слава богу! Я могу довериться ему.

До сих пор я старался сдерживать свое любопытство из уважения к моей спутнице, но теперь оно пересилило меня.

– Видимо, у вас есть серьезные причины жаловаться на какого-то знатного человека, – сказал я. – Я опасаясь, что баронет, имя которого вы не желаете называть, нанес вам серьезное оскорбление. Не это ли причина, по которой вы здесь в такое позднее время?

– Не спрашивайте ни о чем, не заставляйте меня говорить об этом, – ответила незнакомка. – Я не в состоянии... Со мной поступили ужасно, меня жестоко обидели. Вы добры, но будьте еще добрее, пойдемте поскорее, и, пожалуйста, не говорите со мной. Мне очень хочется молчать... Мне очень хочется успокоиться... насколько это возможно...

Мы быстрыми шагами продвигались вперед, и по крайней мере в течение получаса никто из нас не проронил ни слова. Время от времени, так как мне было запрещено вступать в расспросы, я украдкой смотрел на незнакомку. Ее лицо сохраняло прежнее выражение: губы были крепко сжаты, лоб нахмурен, взгляд, напряженный и в то же время рассеянный, устремлен вдаль. Когда мы дошли наконец до первых домов, черты ее разгладились и она снова заговорила:

– Вы живете в Лондоне?

– Да, – ответил я, и вдруг мне пришло в голову, что незнакомка, быть может, намеревалась обратиться ко мне в будущем за помощью или советом и что, дабы избежать ее возможного разочарования, мне следовало предупредить ее о моем скором отъезде. Поэтому я добавил: – Но завтра я уезжаю из Лондона на некоторое время. Я еду в провинцию.

– Куда? – спросила она. – На север или на юг?

– На север, в Камберленд.

– В Камберленд, – повторила она с нежностью. – Я бы тоже хотела поехать туда. Когда-то я была очень счастлива в Камберленде.

Я снова попытался приподнять завесу, разделявшую нас.

– Вы, по всей видимости, родились в прекрасном озерном крае? – спросил я.

– Нет, – ответила она, – я родилась в Хэмпшире, но некоторое время провела в школе в Камберленде. Озера? Я не припоминаю никаких озер. А вот деревушку Лиммеридж и Лиммеридж-Хаус я бы очень хотела увидеть снова.

Теперь настал мой черед застыть как вкопанному. Случайное упоминание поместья мистера Фэрли в сложившихся обстоятельствах потрясло меня до глубины души.

– Вам показалось, нас кто-то окликнул? – спросила незнакомка, с испугом оглянувшись на дорогу в ту минуту, как я остановился.

– Нет-нет! Просто я был поражен тем, что вы назвали Лиммеридж-Хаус... Впервые я услышал о нем от моих камберлендских знакомых всего несколько дней назад.

– Я их, конечно, не знаю... Ах, миссис Фэрли умерла, муж ее тоже умер, а дочь их, вероятно, вышла замуж и уехала из Лиммериджа. Я не знаю, кто теперь живет там. Если в замке еще остался кто-нибудь из этой семьи, я буду любить их в память о миссис Фэрли.

Казалось, незнакомка хотела еще что-то сказать, но тут мы подошли к заставе на Авеню-Роуд. Она еще сильнее сжала мою руку и с беспокойством поглядела на ворота.

– Сторож у ворот? – спросила она.

Его, однако же, не было, никого не было, нам не встретила ни одна живая душа, когда мы миновали ворота. Вид газовых ламп и рожков как будто взволновал незнакомку и привел в нетерпение.

– Вот и Лондон, – сказала она. – Не видите ли вы поблизости какой-нибудь экипаж, который я могла бы нанять? Я устала и напугана. Я хочу сесть в карету и уехать.

Я объяснил ей, что нам надо дойти до стоянки кебов, впрочем, быть может, нам повезет встретить по пути пустой экипаж, потом я попробовал продолжить разговор о Камберленде, но тщетно. Мысль о возможности спрятаться в кебе и уехать отсюда подальше целиком овладела незнакомкой. Ни о чем другом она не могла ни думать, ни говорить.

Не прошли мы и трети пути по Авеню-Роуд, как я увидел кеб, остановившийся у дома, в нескольких шагах от нас, на противоположной стороне улицы. Из него вышел мужчина. Я окликнул кебмена, когда тот вновь залезал на козлы. Нетерпение моей спутницы увеличилось до такой степени, что она почти заставила меня бежать через дорогу бегом.

– Уже так поздно, – сказала она, – я тороплюсь только потому, что уже так поздно...

– Я могу взять вас, сэр, только если вы едете к Тоттенхему, – вежливо сказал извозчик, когда я открывал дверцу кеба. – Моя лошадь устала до смерти и может добежать только до своей конюшни.

– Да-да! Я еду в ту сторону... именно в ту сторону, – быстро проговорила незнакомка, задыхаясь от нетерпения, и торопливо села в кабриолет.

Я удостоверился, что извозчик был столь же трезв, сколь вежлив, и, посадив мою спутницу в кеб, попросил у нее позволения проводить ее.

– Нет-нет-нет! – возразила она с горячностью. – Теперь я в совершенной безопасности и совершенно счастлива. Если вы благородный человек, то вспомните ваше обещание. Велите кебмену ехать, пока я не остановлю его. Благодарю вас, о, благодарю, благодарю!

Рука моя лежала на дверце кеба. Незнакомка схватила ее и поцеловала. В ту же секунду кеб тронулся с места; я смотрел ему вслед с какой-то неопределенной мыслью остановить экипаж, сам не знаю зачем. Боясь испугать и огорчить незнакомку, я наконец окликнул кебмена, но не настолько громко, чтобы привлечь его внимание. Стук колес вскоре стих; кеб слился в одно с темными тенями улицы – женщина в белом исчезла.

Прошло минут десять. Я продолжал свой путь по той же улице, я то машинально делал несколько шагов вперед, то снова рассеянно останавливался. То я сомневался в реальности происшедшего, то чувствовал какое-то недоумение и тревогу при мысли о том, что поступил дурно, хотя не имел ни малейшего представления, как в данной ситуации следовало бы поступить правильно. Я почти не сознавал, куда иду и что собираюсь делать; мысли в моей голове мешались. Неожиданно я пришел в себя, можно сказать, очнулся от забытья, заслышав у себя за спиной стук колес быстро приближавшегося экипажа.

Все это время я двигался по темной стороне улицы и сейчас оглянулся, оставаясь скрытым густой тенью каких-то садовых деревьев. По противоположной, освещенной стороне по направлению к Риджентс-парку шел полисмен.

Открытая коляска проехала мимо меня; в ней сидели двое мужчин.

– Стой! – закричал вдруг один из них. – Вот полисмен. Спросим его.

Лошадь остановилась в нескольких шагах от того места, где я стоял в темноте.

– Полисмен, – крикнул тот же мужчина, – вы не видели, не проходила ли здесь женщина?

– Какая из себя, сэр?

– В платье цвета лаванды...

– Нет-нет, – перебил его второй. – Платье, которое мы дали ей, лежало на постели. Должно быть, она ушла в том платье, в каком приехала к нам. В белом, полисмен. Женщина в белом.

– Я не видел ее, сэр.

– Если вы или кто другой увидит эту женщину, задержите ее и доставьте под надежной охраной по этому адресу. Я оплачу все издержки да в придачу дам еще хорошее вознаграждение.

Полисмен посмотрел на протянутую карточку:

– Но почему мы должны задержать ее, сэр? Что она сделала?

– «Сделала»?! Она убежала из сумасшедшего дома. Не забудьте: женщина в белом. Едем!

## V

«Убежала из сумасшедшего дома»!

Не могу сказать, что ужасное известие, заключавшееся в этих словах, было для меня полной неожиданностью. Станные вопросы женщины в белом, следовавшие за моим опрометчивым обещанием предоставить ей свободу действовать по своему разумению, давали мне повод прийти к заключению, что либо она по природе ветрена и неуравновешенна, либо какое-нибудь тяжелое потрясение расстроило ее умственные способности. Однако, признаюсь, мысль о полной потере рассудка, которая обычно возникает в нашем сознании при упоминании о сумасшедшем доме, не приходила мне в голову. Ни в речи, ни в поступках незнакомки я не заметил ничего такого, что подтверждало бы эту мысль, и даже слова незнакомца, обращенные к полисмену, отчасти пролившие свет на положение этой женщины, не убедили меня в обратном.

Что же я сделал? Помог убежать из заключения жертве самого ужасного из всех преступлений или снова ввел в общество несчастное существо в то время, как моим долгом было бы водворить ее обратно в сумасшедший дом. Сердце болезненно сжималось в груди от этого вопроса, а совесть мучила меня из-за того, что я задал его себе слишком поздно.

Нечего было и думать ложиться спать в таком тревожном расположении духа, когда я наконец вернулся в свою квартиру. Через несколько часов я должен был отправиться в Камберленд. Я сел и попробовал сначала рисовать, потом читать, но женщина в белом стояла между мной и моим карандашом, между мной и моей книгой. Не попала ли она снова в беду? Такова была моя первая мысль, хотя я эгоистически избегал ее. За этой мыслью последовали другие, менее тревожные. Где она велела остановиться кебмену? Что с ней теперь? Не нагнали ли ее преследователи? По-прежнему ли она в состоянии управлять своими поступками? И не движемся ли мы оба по нашим разошедшимся в разные стороны дорогам к одному и тому же пункту в таинственном будущем, где наши пути вновь пересекутся?

С облегчением я встретил час, когда настала пора запереть за собой дверь, проститься с Лондоном, с моими лондонскими учениками и моими лондонскими друзьями и двинуться навстречу новым интересам и новой жизни. Даже шум и вокзальная суматоха, обычно такие скучные и надоедливые, были мне приятны.

В постскрипуме письма говорилось, что мне следует отправиться в Карлайл, где я должен буду пересест на поезд, идущий в сторону побережья. К несчастью, где-то между Ланкастером и Карлайлом наш паровоз сломался. Из-за этой поломки я опоздал на пересадку. Следующего поезда мне пришлось дожидаться несколько часов, и, когда наконец я вышел из вагона на ближайшей к Лиммериджу станции, был уже одиннадцатый час ночи. В крошечной темноте я с трудом разглядел небольшую карету, присланную за мной мистером Фэрли.

Мой поздний приезд, очевидно, расстроил кучера. Он пребывал в столь свойственном английским слугам состоянии высокопочтительной угрюмости. Карета медленно продвигалась вперед. Дорога была плохая, а густой мрак ночи еще сильнее затруднял езду по ней. Прошло более полутора часов с момента нашего отъезда со станции, прежде чем откуда-то издалека до меня донесся шум морского прибоя и я услышал мягкое шуршание колес по мелкому гравию. Мы проехали одни ворота, потом вторые и остановились перед домом. Меня с торжественным видом встретил слуга, уже успевший снять свою ливрею; он уведомил меня, что господа легли спать, и проводил в большую роскошную комнату, где меня ожидал приготовленный ужин.

Я слишком устал, чтобы много есть или пить; особенно смущал меня торжественный вид слуги, прислуживавшего мне так же внимательно, как будто за столом сидел не я один, а целое общество. Через четверть часа я был готов идти в отведенную для меня спальню. Слуга проводил меня в очень приятно обставленную комнату, сообщил, что завтрак будет подан в девять, а затем, удостоверившись, что все в порядке, бесшумно удалился.

«Что я увижу сегодня во сне? – подумал я, задувая свечу. – Женщину в белом или неизвестных обитательниц камберлендского замка?»

Так странно было ночевать под этим кровом как другу семейства и не знать никого из его обитателей даже в лицо!

## VI

Когда на следующее утро я проснулся и поднял штору, передо мной предстало море, весело искрящееся под ярким августовским солнцем, и далекий берег Шотландии, таявший на горизонте в голубой дымке.

После скучнейших лондонских пейзажей из кирпича и известки вид этот был столь неожиданным и так подействовал на меня, что, едва взглянув на него, я как будто зажил новой жизнью, обрел новый строй мыслей. Смутное ощущение внезапного разрыва с прошлым, без ясной идеи относительно настоящего и будущего овладело моим разумом. События, имевшие место лишь несколько дней тому назад, совершенно изгладились из моей памяти, словно с той поры минуло уже много месяцев. Рассказ Пески о том, как он устроил мое ближайшее будущее, прощальный вечер, который я провел со своей матерью и сестрой, даже таинственное приключение на дороге из Хэмпстеда – все эти события казались мне теперь чем-то, что произошло со мной давным-давно, в какую-то прежнюю эпоху моего существования, и, хотя женщина в белом все еще занимала мои мысли, образ ее поблек и стал тусклым.

За несколько минут до девяти часов я сошел вниз. Вчерашний слуга нашел меня блуждающим по коридорам нижнего этажа и милостиво показал дорогу в столовую.

Первое, что я увидел, когда слуга отворил дверь, – прекрасно сервированный к завтраку стол посреди длинной комнаты с многочисленными окнами. У дальнего окна спиной ко мне стояла женщина. Я был поражен редкой красотой ее фигуры и непринужденной грацией ее позы. Высокая, но не слишком, ладная и хорошо сложенная, она была в меру полной; с гордой головкой на стройных плечах; ее талия была совершенством в глазах мужчины, потому что находилась в надлежащем месте и, по всей видимости, не была обезображена корсетом. Она не слышала, как я вошел, и я несколько минут любовался ею, прежде чем подвинул к себе стул, чтобы тем самым привлечь ее внимание. В ту же секунду она повернулась ко мне. Непринужденное изящество каждого ее движения тем сильнее увеличивало мое нетерпение поскорее увидеть ее лицо. Она отошла от окна, и я сказал себе: «Она брюнетка». Она сделала несколько шагов, и я сказал себе: «Она молода». Она приблизилась, и я (с удивлением, которого не могут передать слова) сказал себе: «Как она некрасива!»

Никогда еще старая поговорка, утверждающая, что природа не может ошибаться, не была так решительно опровергнута: прекрасная фигура женщины таким странным и поразитель-



ным образом контрастировала с ее лицом! Она была смуглой, а темный пушок над верхней губой казался почти усами. У нее был большой, энергичный, мужской рот и такой же подбородок, решительные карие глаза и густые цвета воронова крыла волосы, росшие необыкновенно низко надо лбом. Когда она молчала, ее лицо, веселое, откровенное и умное, казалось совершенно лишенным привлекательности, ему не хватало нежности и мягкости, без которых красота самой прелестной женщины бывает неполной. Видеть такое лицо на плечах, достойных резца скульптора; быть очарованным скромной грацией так дивно и стройно очерченных членов и в то же время чувствовать почти отвращение к мужеподобным чертам и выражению лица женщины со столь совершенной фигурой – это ощущение было чрезвычайно схоже с тем беспокойным чувством, какое нередко тревожит нас во сне, когда мы не можем примирить противоречий какого-нибудь из своих сновидений.

– Мистер Хартрайт? – обратилась ко мне леди. Стоило ей заговорить, как ее смуглое лицо засияло улыбкой, смягчилось и стало женственным. – Мы отчаялись увидеть вас вчера и легли спать в обычное время. Позвольте мне извиниться за проявленную по отношению к вам невнимательность и разрешите представиться: я одна из ваших учениц. Давайте пожмем друг другу руки? Вероятно, рано или поздно нам придется это сделать, так почему же не сейчас?

Это странное приветствие было произнесено чистым, звучным, приятным голосом. Рука, большая, но прелестно очерченная, была подана мне с непринужденной самоуверенностью прекрасно образованной женщины из высшего света. Мы сели за стол как старые друзья, словно знали друг друга уже несколько лет и заранее договорились встретиться в Лиммеридже потолковать о былых временах.

– Надеюсь, вы приехали сюда с решительным намерением не скучать, – продолжила леди. – А начнется ваше нынешнее утро с того, что вам предстоит позавтракать исключительно в моем обществе. Сестра осталась у себя; она страдает сегодня чисто женской болезнью, у нее немного болит голова, а ее старая гувернантка миссис Вэзи потчует ее целительным чаем. Мой дядя мистер Фэрли никогда не присоединяется к нашим трапезам: он очень болен и живет себе холостяком в своих комнатах. Больше в доме никого нет. Гостили у нас две молодые особы, но вчера они уехали в полном отчаянии, и неудивительно! За все время их пребывания (учитывая крайне болезненное состояние мистера Фэрли) мы не представили им в нашем доме ни одного танцующего и флиртующего существа мужского пола, ни одного любезного кавалера; вследствие чего мы то и дело ссорились, особенно за ужином. Возможно ли, чтобы четыре женщины день за днем трапезничали лишь в обществе друг друга и не ссорились! Мы так глупы, что не умеем занять себя беседой за столом. Как видите, я не слишком высокого мнения о моем собственном поле, мистер Хартрайт... Чего вам предложить: чая или кофе?.. Все женщины невысокого мнения о себе подобных, но лишь немногие признаются в этом так откровенно, как я. Господи, вы выглядите сильно озадаченным! Почему? Еще не решили, что вам выбрать на завтрак, или вас удивляет моя пустая болтовня? В первом случае – дружески советую вам не трогать холодной ветчины, той, что у вашего локтя, а дожидаться, пока не подадут омлет. Во втором случае – я налью вам чая, чтобы вы успокоились, и сделаю все, что только женщина может сделать в подобных обстоятельствах (что очень мало, надо заметить мимоходом), – буду молчать.

Весело смеясь, она подала мне чашку с чаем. Ее легкая и оживленная манера вести разговор с незнакомым человеком сопровождалась такой естественной непринужденностью и врожденной уверенностью в самой себе и в своем положении, что они обеспечили бы ей уважение самого дерзкого человека на свете. В ее обществе было невозможно вести себя официально и скованно, но также было немыслимо позволить себе хоть малейший признак вольности с нею, даже в мыслях. Я почувствовал это инстинктивно, хотя и поддался ее заразной веселости, и постарался ответить ей так же откровенно и весело.

– Да-да, – произнесла она, когда я предложил ей единственное возможное объяснение собственного замешательства, – понимаю! Вы еще до такой степени незнакомы с нашим домом, что вас, конечно же, удивляют мои столь краткие упоминания о его достойных обитателях. Ваша реакция так естественна, что мне следовало бы подумать об этом прежде. Во всяком случае, я могу исправиться теперь. Что, если я начну с самой себя? Меня зовут Мэриан Холкомб, и я неточна, что свойственно всем женщинам, называя мистера Фэрли моим дядей, а мисс Фэрли – моей сестрой. Моя матушка была замужем два раза: первый раз – за мистером Холкомбом, моим отцом; второй – за мистером Фэрли, отцом моей единоутробной сестры. Мы обе сироты, но во всем остальном мы совершенно не похожи друг на друга. Мой отец был беден, а отец мисс Фэрли – богат. У меня за душой нет ничего, а она богатая наследница. Я брюнетка и дурна собой, она блондинка и прехорошенькая. Все считают меня резкой и странной (что совершенно справедливо), а ее – кроткой и очаровательной (что еще справедливее). Словом, она ангел, а я... Попробуйте этот джем, мистер Харттрайт, и приличия ради завершите про себя мою фразу. Что сказать вам о мистере Фэрли? Право, сама не знаю. Он непременно придет за вами после чая, и вы будете в состоянии сами составить о нем суждение. Пока же я могу сообщить вам, во-первых, что он младший брат покойного мистера Фэрли; во-вторых, что он холостяк и, в-третьих, что он опекун мисс Фэрли. Я не могу жить без нее, а она не может жить без меня, вот почему я живу в Лиммеридже. Мы с сестрой искренне привязаны друг к другу; вы можете заметить, что это довольно неожиданно, особенно в свете рассказанных мной обстоятельств, – и я совершенно согласна с вами, – но это так. Вам придется угождать нам обоим, мистер Харттрайт, или не угождать ни одной из нас; но что еще труднее – вы будете проводить время только в нашем обществе. Миссис Вэзи – превосходная женщина, обладающая множеством добродетелей, но она в счет не идет, а мистер Фэрли – слишком больной человек, чтобы составить приятную компанию кому бы то ни было. Я не знаю, что с ним, и доктора не знают, да он и сам не знает. Мы все говорим, что у него расстроены нервы, хотя никто из нас не знает, что именно это значит. Однако я советую вам потакать его маленьким странностям, когда вы познакомитесь с ним сегодня. Восхищайтесь его коллекцией медалей, гравюр, акварелей, и вы тронете его сердце. Право, если вам по душе тихая сельская жизнь, вам будет здесь очень приятно. После завтрака вы будете заниматься коллекцией акварелей мистера Фэрли. А после обеда мисс Фэрли и я возьмем наши альбомы и под вашим руководством примемся обезображивать природу. Заметьте, рисование – ее любимое занятие, не мое. Женщины по природе своей не могут рисовать: их воображение слишком беспечно, а глаза слишком невнимательны. И все же сестра моя любит живопись, а потому и я ради нее трачу краски и порчу бумагу так же спокойно, как и любая другая женщина в Англии. Что же касается вечеров, думаю, мы поможем вам не скучать. Мисс Фэрли восхитительно играет на фортепиано. Я же хоть и не отличу одной ноты от другой, зато могу играть с вами в шахматы, триктрак, экарте и даже в бильярд. Что вы думаете о такой программе? Можете ли вы примириться с нашей тихой, размеренной жизнью или будете изнывать в незатейливой атмосфере Лиммериджа и тайно жаждать перемен и приключений?

Мисс Холкомб говорила в своей обычной грациозно-шутливой манере, я лишь изредка прерывал ее речь своими ничего не значащими ответами, которых требовала от меня простая вежливость. Однако ее последний вопрос или, лучше сказать, одно невзначай оброненное ею слово «приключение» напомнило мне о моей встрече с женщиной в белом и побудило меня попытаться найти разгадку тому, что за связь, на которую намекала незнакомка, упомянув имя миссис Фэрли, некогда существовала между неизвестной беглянкой из сумасшедшего дома и прежней владелицей Лиммериджа.

– Даже если бы я был самым неутомимым человеком на свете, – сказал я, – и тогда я не стал бы жаждать приключений еще некоторое время. Накануне моего отъезда со мной произошел странный случай, и уверяю вас, мисс Холкомб, что удивление и волнение, которые это

происшествие возбудило во мне, будут преследовать меня в течение всего моего пребывания в Камберленде, если не дольше.

– Неужели, мистер Хартрайт? Могу я узнать, что с вами случилось?

– Вы имеете на это полное право. Ведь главное действующее лицо в этом приключении – совершенно незнакомая мне женщина – может стать, также неизвестна и вам, однако она упомянула имя покойной миссис Фэрли в выражениях, исполненных самой искренней благодарности и уважения.

– Имя моей матери? Вы чрезвычайно заинтересовали меня. Продолжайте, прошу вас!

Я подробно рассказал об обстоятельствах, при которых встретил женщину в белом, и слово в слово повторил все, что та сказала мне о миссис Фэрли и Лиммеридже.

С самого начала и до конца моего рассказа мисс Холкомб не сводила с меня пристального взгляда своих умных, внимательных глаз. Лицо ее выражало живой интерес и удивление, но не более. Она, очевидно, так же мало знала разгадку этой тайны, как и я сам.

– Вы уверены, что она говорила именно о моей матери? – спросила мисс Холкомб.

– Совершенно уверен, – ответил я. – Кем бы ни была эта женщина, по всей видимости, она когда-то училась в лиммериджской школе и пользовалась особым расположением миссис Фэрли, в память о доброте которой она принимает участие во всех членах вашей семьи. Она знала, что миссис Фэрли и ее муж скончались, и говорила о мисс Фэрли так, словно они были знакомы с детства.

– Вы, кажется, упоминали, что она не из здешних мест?

– Да, она сказала, что она родом из Хэмпшира.

– И вам не удалось узнать ее имени?

– Не удалось.

– Очень странно! Думаю, вы поступили справедливо, мистер Хартрайт, оставив бедняжку на свободе, ведь в вашем присутствии она не сделала ничего такого, что вызвало бы у вас подозрение в благовидности ее намерений. Но мне жаль, что вы не настояли, чтобы узнать ее имя. Мы должны разгадать эту тайну, так или иначе. Только не говорите пока об этом ни с мистером Фэрли, ни с моей сестрой. Уверена, они, так же как и я, совершенно не знают, кто эта женщина и каким образом ее прошлое может быть связано с прошлым нашей семьи. Однако оба они, хоть и по-разному, довольно нервны и впечатлительны, и вы только понапрасну расстроите одного и встревожите другую. Что касается меня, я сгораю от любопытства и с нынешнего же дня посвящу всю свою энергию раскрытию этой тайны. Когда моя мать приехала в Лиммеридж после второго замужества, она устроила здесь сельскую школу, которая существует и поныне. Однако прежние учителя все или умерли, или разъехались кто куда, так что с этой стороны мы никаких сведений не получим. Единственное, что приходит мне в голову...

На этом месте наш разговор был прерван появлением слуги с запиской от мистера Фэрли, сообщавшего, что он будет рад меня видеть сразу после завтрака.

– Подожди в передней, – ответила ему за меня мисс Холкомб в своей быстрой и решительной манере. – Мистер Хартрайт сейчас придет. Я только хотела сказать, – продолжила она, снова обращаясь ко мне, – что у нас с сестрой осталось много писем моей матери. Не имея иной возможности получить интересующие нас сведения, сегодняшнее утро я посвящу изучению переписки матушки с мистером Фэрли. Он любил Лондон и постоянно отлучался из поместья, вот матушка и привыкла писать ему подробнейшим образом обо всем, что делалось в Лиммеридже. Она часто писала ему о школе, которой уделяла много времени; полагаю, что к моменту нашей следующей встречи мне удастся что-нибудь разузнать. Обедаем мы в два часа, мистер Хартрайт. Тогда я и буду иметь удовольствие представить вас моей сестре; остальное время дня мы проведем вместе: поедем кататься, осмотрим окрестности и покажем вам наши любимые места. Итак, прощайте до двух часов!

Мисс Холкомб кивнула мне грациозно и с восхитительной утонченностью дружеского расположения, которые отличали все, что она делала и говорила, и исчезла за дверью в глубине комнаты. Как только она оставила меня, я вышел в переднюю и проследовал за слугой, чтобы в первый раз явиться к мистеру Фэрли.

## VII

Проводник провел меня наверх, в коридор, по которому мы пришли к отведенной мне спальне; отворив дверь в соседнюю комнату, он попросил меня войти в нее.

– Хозяин приказал мне показать вам вашу гостиную, сэр, – сказал слуга, – и спросить, подходят ли вам ее расположение и освещение.

Я должен был бы быть чрезвычайно придиричивым, чтобы мне не понравилась эта комната, ее расположение и обстановка. Из полукруглого окна открывался тот самый прелестный вид, которым я восхищался утром из своей спальни. Мебель была совершенством роскоши и красоты; на столе посреди комнаты я обнаружил книги в красивых переплетах, изящные принадлежности для письма и прелестные цветы. На другом столе, у окна, были приготовлены все необходимые материалы для рисования акварелью, а к самому столу был прикреплен небольшой мольберт, который я мог складывать и раскладывать по своему усмотрению. Стены этой небольшой комнаты были обиты ярким ситцем, а пол покрыт желто-красной индийской циновкой. Это была самая нарядная и роскошная гостиная, какую только мне доводилось видеть, и я восхищался ей с самым пламенным энтузиазмом.

Слуга был слишком хорошо обучен своим обязанностям, чтобы обнаружить хоть малейшее удовольствие в ответ на мое восхищение. Он поклонился с ледяной сдержанностью, когда мои похвалы истощились, и молча снова отворил дверь в коридор.

Мы повернули за угол, миновали еще один длинный коридор, затем поднялись на несколько ступенек, пересекли небольшую круглую переднюю и остановились перед дверью, обитой темной байкой. Слуга открыл передо мной эту дверь, затем вторую, распахнул две бледно-зеленые шелковые портьеры, висевшие у двери, тихо произнес: «Мистер Харттрайт» – и оставил меня одного.

Я очутился в большой, высокой комнате, с великолепной резьбой на потолке и таким толстым и мягким ковром на полу, что он казался бархатом под моими ногами. Вдоль одной из стен расположился длинный книжный шкаф из какого-то редкого, совершенно мне неизвестного дерева. Он был невысок, и на нем красовались мраморные статуэтки, расставленные на равном расстоянии одна от другой. У противоположной стены стояли два старинных застекленных шкафчика, вверху, между ними, висела защищенная стеклом картина «Мадонна с Младенцем», к раме которой была прикреплена позолоченная табличка с именем Рафаэля. Справа и слева от меня находились шифоньеры и небольшие столики, инкрустированные бронзой и перламутром, заставленные статуэтками из дрезденского фарфора, редкими вазами, изделиями из слоновой кости, игрушками и всевозможными безделушками, сверкавшими золотом, серебром и драгоценными камнями. В глубине комнаты, прямо напротив меня, окна были занавешены широкими шторами такого же бледного-зеленого цвета, что и портьеры у дверей. От этого свет в комнате был очаровательно мягкий, таинственный и приглушенный; равномерно освещая все предметы в комнате, он как будто подчеркивал глубокую тишину и атмосферу мрачного уединения, царившие здесь, и окружал покоем одинокую фигуру хозяина, апатично откинувшегося на спинку глубокого кресла, к одной ручке которого была прикреплена подставка для чтения книг, а к другой – маленький столик.

Если по внешности человека, перешагнувшего сорокалетний рубеж и тщательно совершившего свой туалет, можно судить о его возрасте – что более чем сомнительно, – то мистеру Фэрли, когда я его впервые увидел, можно было дать лет пятьдесят – пятьдесят пять. Его гладко

выбритое лицо было худым, изнуренным, бледным до прозрачности, но без морщин; нос тонкий, с горбинкой; глаза серовато-голубые, большие; несколько покрасневшие веки; волосы редкие, мягкие на вид, того желтоватого оттенка, который менее всего обнаруживает седину. На нем был темный сюртук из какой-то материи тоньше сукна, безукоризненно-белые панталоны и жилет. На его маленьких, как у женщины, ногах были надеты шелковые светло-коричневые чулки и, напоминающие женские, кожаные туфли бронзового цвета. Его белые, изнеженные пальцы украшали два перстня, бесценные, даже на мой непросвещенный взгляд. В целом он выглядел каким-то хрупким, раздражительно-томным, капризным и сверхтонченным, он был как-то странно и неприятно изыскан сверх меры, чтобы называться мужчиной, впрочем, даже будь эти черты перенесены на женщину, они от этого не стали бы более естественными и привлекательными. Знакомство с мисс Холкомб расположило меня в пользу всех обитателей дома, но мои симпатии утратили свою силу при первом взгляде на мистера Фэрли.

Подойдя поближе, я увидел, что он сидит не в бездействии, как мне сначала показалось. Среди прочих редких и красивых вещей, размещившихся на большом круглом столе подле него, стояла маленькая шкатулка из черного дерева и серебра, в которой в обитых малиновым бархатом ящичках хранились монеты самых разных форм и размеров. На маленьком столике, прикрепленном к ручке кресла мистера Фэрли, находился один из этих ящичков, а рядом с ним лежали крошечные щеточки, кусочек замши для полировки и пузырек с какой-то жидкостью: все эти приспособления, очевидно, ждали своего часа, чтобы оказаться полезными при удалении случайных загрязнений с монет. Нежные, белые пальцы мистера Фэрли небрежно поигрывали чем-то, показавшимся для моих неопытных глаз похожим на грязную оловянную медаль с зазубренными краями, когда я остановился на почтительном расстоянии от его кресла, чтобы поклониться.

– Очень рад видеть вас в Лиммеридже, мистер Хартрайт, – сказал он жалобно-ворчливым голосом, с вялой безжизненностью которого неприятно диссонировали высокие, почти визгливые нотки. – Садитесь, прошу вас. И пожалуйста, не придвигайте стул. Состояние моих бедных нервов таково, что всякое, даже постороннее, движение – настоящее испытание для меня. Видели вы вашу мастерскую? Подходит ли она вам?

– Я только что оттуда, мистер Фэрли, и уверяю вас...

Он прервал меня посреди фразы, закрыв глаза и протянув свою белую руку с умоляющим видом. Я остановился в удивлении, и жалобный голос удостоил меня следующим объяснением:

– Прошу простить меня, но не могли бы вы постараться говорить тише? Состояние моих бедных нервов таково, что громкие звуки прямо-таки мучительны для меня. Надеюсь, вы простите больного. Плачевное состояние моего здоровья принуждает меня говорить это всем моим посетителям. Да. Так вам понравилась ваша комната?

– Я не мог желать ничего лучше и удобнее, – ответил я, понижая голос и начиная уже понимать, что эгоистичная аффектация мистера Фэрли и состояние его нервов суть одно и то же.

– Очень рад. Скоро вы убедитесь, мистер Хартрайт, что здесь вам будет оказано полное уважение. В этом доме нет и следа того ужасного английского варварства в отношении художников, непременно желающего указать им их место в обществе. Я столько лет своей юности провел за границей, что совершенно избавился от наших островных взглядов на этот вопрос. Хотелось бы мне сказать то же самое о дворянстве – отвратительное слово, но я вынужден прибегнуть к нему, – о здешнем дворянстве. Наши соседи – настоящие варвары в вопросах искусства, мистер Хартрайт. Уверяю вас, эти люди с удивлением вытаращили бы глаза, если бы стали свидетелями тому, как Карл Пятый поднимает кисть Тициана. Будьте так любезны, положите эти монеты в шкатулку и дайте мне другой ящичек. Состояние моих бедных нервов таково, что всякое усилие для меня невыразимо неприятно. Да. Благодарю вас.



Как иллюстрация к либеральной общественной теории, которую мистер Фэрли только что провозгласил, его бесцеремонная просьба несколько насмешила меня. Я убрал монеты в шкатулку и подал ему другие со всевозможной вежливостью. Он тотчас же начал перебирать их, чистить щеточкой, томно глядя на монеты и любясь ими в течение всего нашего разговора.

– Тысяча благодарностей и тысяча извинений! Вы любите монеты? Да? Очень рад, что наши вкусы совпадают не только в вопросах искусства. А теперь поговорим о денежных условиях: скажите как на духу, довольны ли вы ими?

– Очень доволен, мистер Фэрли.

– Что ж, очень рад. Что еще? Ах да, вспомнил! Это касается вознаграждения, которое вы столь любезно согласились принять за то, что предоставляете мне возможность воспользоваться вашими талантами в области искусства. Мой камердинер явится к вам в конце первой недели уточнить, не появилось ли у вас каких-либо дополнительных пожеланий. Что еще?.. Как это странно, не правда ли? Я должен был вам многое сказать, а между тем совершенно забыл обо всем. Не дернете ли вы за шнурок? В этом углу. Да. Благодарю.

Я позвонил, и в комнате бесшумно появился слуга, которого я еще не видел, – иностранец, с выученной улыбкой и с прекрасно причесанными волосами – лакей с головы до пят.

– Луи, – сказал ему мистер Фэрли, задумчиво полируя ногти щеточкой для монет, – сегодня утром я сделал несколько заметок в моей записной книжке. Отыщи ее. Тысячу извинений, мистер Хартрайт! Боюсь, что наскучил вам.

Поскольку мистер Фэрли снова устало закрыл глаза, прежде чем я успел ответить, и так как он действительно мне наскучил, я сидел, молча разглядывая «Мадонну с Младенцем» Рафаэля. Между тем камердинер вышел из комнаты и вскоре вернулся с маленькой книжечкой в переплете из слоновой кости. Мистер Фэрли, прежде облегчив себя легким вздохом, взял книжечку в одну руку, а другой поднял щеточку в воздух, в знак того, что слуга должен ждать дальнейших распоряжений.

– Да. Именно так! – сказал мистер Фэрли, сверившись с записями. – Луи, подай эту папку. – Он указал на несколько папок, лежавших у окна на этажерке из красного дерева. – Нет, не зеленую... В ней гравюры Рембрандта, мистер Хартрайт. Любите вы гравюры? Да? Рад, что у нас одинаковые вкусы. Красную папку, Луи! Не урони! Вы представить себе не можете, мистер Хартрайт, какие мучения мне придется претерпеть, если Луи уронит эту папку! Она не упадет со стула? Считаете, что она не упадет? Да? Я счастлив. Сделайте одолжение, взгляните на рисунки, если только вы уверены, что они действительно в безопасности. Луи, ступай. Какой ты осел! Разве не видишь, что я подаю тебе книжечку? Или ты думаешь, что я буду держать ее? Почему же ты не возьмешь ее у меня, а дожидаясь приказа? Тысячу извинений, мистер Хартрайт! Слуги такие ослы, не правда ли? Скажите же, что вы думаете о рисунках? Когда я купил их, они были в ужасном состоянии: мне показалось, они пахнут пальцами этих гадких торгашей, когда я просматривал их в последний раз. Можете вы взяться за них?

Хотя мои нервы были не столь чувствительны, чтобы я мог различить запах плебейских пальцев, который оскорбил обоняние мистера Фэрли, вкус мой был достаточно развит, чтобы я мог оценить предложенные рисунки. По большей части это были прекрасные образцы английской акварельной живописи и заслуживали лучшего обращения со стороны своего бывшего владельца.

– Рисунки, – ответил я, – необходимо тщательно подготовить и окантовать; по моему мнению, они стоят...

– Простите, – перебил меня мистер Фэрли, – вы не будете возражать, если я закрою глаза, пока вы будете говорить? Даже этот свет слишком ярок для них. Да?

– Я хотел сказать, что рисунки стоят и времени, и труда...

Мистер Фэрли вдруг опять открыл глаза и с выражением беспомощного испуга обратил их в сторону окна.

– Умоляю вас, простите меня, мистер Харттрайт, – тихо прошептал он. – Но нет никаких сомнений, я слышу крики детей в саду, в моем собственном саду, под окнами...

– Не знаю, мистер Фэрли. Я ничего не слышал.

– Сделайте одолжение – вы были так добры, что имели снисхождение к моим бедным нервам, – сделайте одолжение, приподнимите немножко уголок шторы, но, пожалуйста, постаньтесь, чтобы солнце не падало на меня, мистер Харттрайт! Вы подняли штору? Да? Так будьте же так добры, взгляните в сад и удостоверьтесь...

Я исполнил эту новую просьбу. Сад был обнесен стеной. Ни одного человеческого существа, ни большого, ни маленького, не было видно в этом священном убежище. Об этом удовлетворительном обстоятельстве я и сообщил мистеру Фэрли.

– Тысяча благодарностей! Видимо, послышалось. В доме, слава богу, нет никаких детей, но слуги (эти люди рождаются без нервов) иногда потворствуют деревенским мальчишкам и девчонкам. Такие паршивцы, господа, такие паршивцы! Признаться, мистер Харттрайт, я так хотел бы усовершенствовать их конструкцию. Природа, кажется, создала их с единственной целью, чтобы они стали машинами для производства непрерывного шума. Концепция нашего восхитительного Рафаэля несравненно более предпочтительна.

Говоря это, мистер Фэрли указывал на Мадонну; в верхней части этой картины были изображены традиционные для итальянской живописи херувимы, опорой для подбородков которых служили светлые облачка.

– Вот идеальная семья! – сказал мистер Фэрли, ухмыльнувшись на херувимов. – Какие маленькие, кругленькие личики! Какие мягкие крылышки – и ничего больше! Ни грязных ног для беготни, ни легких для порождения крика. До какой степени все это неизмеримо выше существующей ныне конструкции! Я снова закрою глаза, с вашего позволения. Так вы и в правду возьметесь за рисунки? Очень рад. Надо ли нам еще что-то обсудить? Если да, то я об этом забыл. Не позвать ли нам опять Луи?

К этому времени я, со своей стороны, так же страстно желал поскорее окончить свидание, как, по всей видимости, и мистер Фэрли, и потому решил обойтись без помощи слуги.

– Единственное, что еще осталось обговорить, мистер Фэрли, полагаю, касается уроков рисования, которые я обязался давать двум молодым леди.

– Ах да! Именно, именно, – сказал мистер Фэрли. – Хотел бы я чувствовать в себе столько сил, чтобы разобраться и с этим вопросом, но, право, я очень устал. Пусть молодые леди, которые будут пользоваться вашими услугами, мистер Харттрайт, сами решают, что и как. Моя племянница любит ваше очаровательное искусство. Она разбирается в нем настолько, чтобы понимать свои недостатки. Пожалуйста, займитесь ею хорошенько. Да. Что-нибудь еще? Нет. Мы совершенно поняли друг друга, не так ли? Я не имею права удерживать вас дольше и отрывать от ваших восхитительных занятий. Так приятно обо всем договориться! Становится так легко на душе, когда окончишь дело. Потрудитесь позвонить, чтобы Луи отнес папку в вашу комнату.

– Я сам отнесу ее, мистер Фэрли, если позволите.

– Неужели отнесете? У вас хватит сил? Как приятно быть сильным! Но вы уверены, что не уроните ее? Как я рад, что вы в Лиммеридже, мистер Харттрайт! Я такой страдалец, что не смею надеяться наслаждаться вашим обществом часто. Потрудитесь, уходя, не хлопать дверьми и не уронить папку. Благодарю вас. Прошу вас, осторожнее с портьерами: малейший шум пронзает мое естество, как нож. Да. Всего лучшего!

Когда бледно-зеленые портьеры задернулись и обе двери затворились за мной, я остановился на минуту в передней и с облегчением перевел дух. Выйти из комнаты мистера Фэрли было все равно что выплыть на поверхность воды после глубокого погружения.

Уютно устроившись в своей маленькой мастерской, я первым делом принял твердое решение никогда не приближаться к комнатам хозяина дома, за исключением тех случаев, когда он удостоит меня особенным приглашением посетить его. Продумав свое будущее пове-

дение относительно мистера Фэрли, я вскоре вновь обрел душевное равновесие, которое на мгновение пошатнулось во мне надменная развязность и дерзкая учтивость моего хозяина. Остаток утра я провел довольно приятно: рассматривал рисунки, раскладывал их, обрезал потрепанные края и делал другие необходимые приготовления для последующей окантовки. Вероятно, я мог бы успеть сделать и больше, но, когда приблизилось время обеда, во мне настолько возросли беспокойство и нетерпение, что я почувствовал себя неспособным продолжать работу, даже самую простую и машинальную.

В два часа я снова, слегка волнуясь, вошел в столовую. Ожидание чего-то интересного неразрывно связывалось в моем сознании с возвращением в эту часть дома. Приближалось мое знакомство с мисс Фэрли; кроме того, если розыски мисс Холкомб дали результат, на что она рассчитывала, то настало время узнать тайну женщины в белом.

## VIII

Когда я вошел в комнату, то увидел сидящими за столом мисс Холкомб и какую-то пожилую даму.

Я был тотчас представлен последней, миссис Вэзи, бывшей гувернантке мисс Фэрли. Утром моя веселая собеседница охарактеризовала мне ее вкратце как «женщину, обладающую множеством добродетелей», но которая, однако, «в счет не идет». Я могу только подтвердить, что мисс Холкомб очень точно описала характер старушки. Миссис Вэзи казалась олицетворением спокойствия и женской приветливости. Спокойное наслаждение спокойным существованием сияло сонными улыбками на ее полном бесстрастном лице. Некоторые из нас опрометью пробегают по жизни, другие – идут шагом. Миссис Вэзи провела всю жизнь сидя. С утра до вечера она сидела: в доме, в саду, в прочих самых неожиданных местах, на складном стуле, когда приятельницы водили ее гулять, сидела, прежде чем устаивала что-нибудь взглядом, прежде чем заговорить о чем-нибудь, прежде чем ответить «да» или «нет» на самый простой вопрос, все с той же ясной улыбкой на губах, с тем же рассеянно-внимательным поворотом головы, в той же уютной позе, удобно сложив руки, – всегда, как бы ни менялись домашние обстоятельства. Глядя на эту кроткую, сговорчивую, невозмутимо-спокойную, безобидную старушку, никто не мог бы с уверенностью сказать, а жила ли она на самом деле с тех самых пор, как родилась. У природы столько дел на этом свете, произведения ее рук столь многочисленны и разнообразны, что она порой и сама не может второпях разобраться в собственных планах, вынашиваемых одновременно. Исходя из этой точки зрения, я всегда был убежден, что в момент, когда на свет появилась миссис Вэзи, природа была поглощена сотворением капусты, и потому добрая старушка стала жертвой увлечения овощеводством праматери всего сущего.

– Что бы вы хотели скушать, миссис Вэзи, – спросила мисс Холкомб, которая на фоне необщительной старушки, сидевшей подле нее, казалась еще более веселой, оживленной и остроумной, чем утром, – котлетку?

Миссис Вэзи положила свои морщинистые руки, одна на другую, на край стола, кротко улыбнулась и сказала:

– Да, душенька.

– А что это стоит напротив мистера Хартрайта? Вареный цыпленок? Мне казалось, что вы больше любите цыплят, нежели котлеты, миссис Вэзи.

Миссис Вэзи сняла свои морщинистые руки со стола, скрестила их на коленях, созерцательно поглядела на цыпленка и сказала:

– Да, душенька.

– Но чего же вам все-таки хочется сегодня? Чтобы мистер Хартрайт передал вам цыпленка или я – котлетку?

Миссис Вэзи снова положила одну из своих морщинистых рук на край стола, какое-то время помолчала в нерешимости и наконец произнесла:

– Что вам угодно, душенька.

– Вот как! Но это дело вашего вкуса, а не моего. Может быть, вы попробуете немножко того и немножко другого? И начните с цыпленка, потому что мистеру Хартрайту не терпится разрезать его для вас.

Миссис Вэзи положила вторую морщинистую руку на край стола, улыбнулась на мгновение и тут же снова «погасла», послушно кивнула и сказала:

– Как вам будет угодно, сэр.

Кроткая, сговорчивая, невыразимо спокойная и безобидная старушка! Но для первого раза довольно о миссис Вэзи.

Все это время мисс Фэрли не появлялась. Не пришла она и когда мы отобедали. Мисс Холкомб, от чьих внимательных глаз ничего не могло укрыться, заметила мои взгляды, которые я время от времени бросал на дверь.

– Понимаю вас, мистер Хартрайт, – сказала она. – Вам хотелось бы знать, что с вашей второй ученицей. Она уже спустилась вниз, головная боль прошла, но аппетит еще не восстановился настолько, чтобы она присоединилась к нам за обедом. Если отдадите себя в мое распоряжение, то, думается, я смогу найти ее где-нибудь в саду.

Мисс Холкомб взяла зонтик, лежавший на стуле возле нее, и направилась к выходу через стеклянную дверь в конце комнаты, отворявшуюся на лужайку перед домом. Едва ли нужно говорить, что мы оставили миссис Вэзи сидеть за столом, на краю которого она по-прежнему держала сложенными свои морщинистые руки, – очевидно, она была намерена оставаться в этом положении целый день.

Когда мы пересекли лужайку, мисс Холкомб взглянула на меня значительно и покачала головой.

– Ваше таинственное приключение, – сказала она, – все еще окутано мраком неизвестности. Я целое утро просматривала письма моей матери, но пока ничего не нашла. Однако не отчаивайтесь, мистер Хартрайт. Тут затронуто любопытство, а у вас в помощницах женщина, так что рано или поздно наши поиски увенчаются успехом. Я еще не все письма прочитала. Осталось три связки, и можете положиться на меня, я потрачу на их изучение весь вечер.

Итак, одно из моих ожиданий пока не исполнилось. Я задумался, не станет ли таким же разочарованием и мое знакомство с мисс Фэрли.

– Как прошла ваша встреча с дядюшкой? – спросила меня мисс Холкомб, когда мы свернули с лужайки на аллею. – Вероятно, он сегодня очень страдал нервами? Не трудитесь отвечать, мистер Хартрайт. Для меня довольно и того, что вы обдумываете ваш ответ. Я по вашему лицу вижу, что нервы дядюшки были сегодня особенно расстроены, и так как я не желаю довести ваши нервы до того же состояния, то и не стану вас больше ни о чем спрашивать.

Тем временем мы повернули на извилистую дорожку и подошли к хорошенькой беседке, выстроенной в виде швейцарского шале в миниатюре. Когда мы поднялись на лестницу и заглянули внутрь, я заметил молодую девушку, стоявшую возле грубо сколоченного стола в деревенском стиле; она глядела на вересковую пустошь и горы, вид на которые открывался сквозь деревья, и рассеянно перелистывала страницы маленького альбома. Это была мисс Фэрли.

Как описать ее? Как отделить ее образ от моих собственных ощущений и всего того, что случилось впоследствии? Могу ли я вновь увидеть ее такой, какой она предстала передо мной в тот самый первый раз, чтобы те, кто читает эти страницы, представили ее себе?

Акварельный портрет, написанный мной с Лоры Фэрли спустя некоторое время, в той же беседке и в той же самой позе, в какой я впервые увидел ее, лежит на моем письменном столе, когда я пишу эти строки. Передо мной на зелено-коричневом фоне беседки отчетливо

возникает образ стройной молоденькой девушки, в простом кисейном платье в широкую белоголубую полоску. Шарф из такой же материи плотно обвивает ее плечи, а маленькая соломенная шляпка, скромно украшенная голубой лентой, бросает свою мягкую жемчужную тень на верхнюю часть ее лица. Волосы у нее русые – не льняного цвета, но почти такие же светлые, не золотистые, но почти такие же блестящие, отчего кажется, будто они растворяются в воздухе, смешиваясь с тенью от ее шляпки. Они разделены на прямой пробор и зачесаны за уши; мягкие пряди обрамляют ее лицо. Брови ее чуть темнее волос, а глаза того нежного прозрачно-бирюзового цвета, который так часто воспевают поэты, но так редко встречается в реальной жизни. Прекрасен цвет ее глаз, прекрасен разрез этих глаз – больших, нежных, спокойно-задумчивых, – но всего прекраснее неподдельная правдивость, сияющая в их глубине светом чистейшего и лучшего из миров. Очарование – чрезвычайно мягкое, но непреодолимое, – которое они излучают, преображает все ее лицо, скрывая его маленькие природные недостатки, из-за чего довольно затруднительно оценить как дефекты, так и отличительные достоинства отдельных его черт. Не замечаешь, что нижняя часть ее лица слишком сильно сужается к подбородку, чтобы быть в полной соразмерности с верхней частью; что ее нос (относительно не орлиный, который любой женщине придает злой, неприятный вид, каким бы ни был он совершенством сам по себе) несколько уклонился от идеальной прямизны линий; что мягкие, чувственные губы подвержены легкому нервному подергиванию, когда она улыбается. Возможно, эти недостатки было бы легко обнаружить на лице любой другой женщины, но только не у мисс Фэрли, в ее облике они тонко сливались в одно целое – прелестное и выразительное, – делая его совершенно неповторимым. Такова была сила очарования ее глаз!

Передал ли все эти оттенки мой бедный портрет, написанный с любовью и старанием в те долгие и счастливые дни? Ах, как мало их в бездушном рисунке и как много в мыслях, с которыми я гляжу на него! Хорошенькая, изящная девушка в светлом платье, с голубыми, сияющими невинностью и искренностью глазами, перелистывает альбом – вот все, что видно на портрете, и даже, может быть, все, что в состоянии выразить самая глубокая мысль, воплощенная в слове. Женщина, впервые давшая жизнь, свет и форму нашим туманным представлениям о красоте, заполнит в нашей душе пустоту, о которой мы даже не подозревали до ее появления. В такую минуту душа откликнется на очарование более глубокое, нежели то, которое доступно передаче словом или даже постижению мыслью. Когда очаровываются наши чувства, тогда, и только тогда обаяние женской красоты, проникшее в самые глубины нашего сердца, становится невыразимым, ибо вступает в ту область, которая неподвластна описанию пера и кисти.

Подумайте о ней, как вы думали о той, которая впервые заставила сильнее биться ваше сердце, остававшееся равнодушным к чарам других женщин. Пусть кроткие, полные искренности голубые глаза ее встретятся с вашими, как они встретились с моими в том первом, неповторимом взгляде, который мы оба запоем навсегда! Пусть ее голос зазвучит для вас музыкой, которую вы некогда любили более всего, такой же нежной для вашего слуха, как и для моего! Пусть ее шаги, когда она появляется и уходит на этих страницах, будут похожи на те, с воздушным шелестом которых ваше сердце билось когда-то в такт! Взгляните на нее как на лелеемую вашим воображением мечту, и тогда она предстанет перед вами так же явственно, как та, что живет в моем сердце.

Среди вихря ощущений, всколыхнувшихся во мне, когда мои глаза впервые увидели ее, – ощущений, знакомых всем нам, которые рождаются в наших сердцах, но почти всегда снова умирают и лишь у немногих вновь возрождаются с прежней силой, – было одно, мучившее меня и приводящее в смятение, оно показалось мне таким странным и таким необъяснимо неуместным в присутствии мисс Фэрли.

К яркому впечатлению, которое произвели на меня очарование ее прелестного лица и головки, ее нежность, ее привлекательная простота в обращении, примешивалось какое-то иное чувство, внушившее мне смутное ощущение чего-то недостающего. То мне казалось,

будто этого чего-то недостает в ней, то я воображал, будто недостает этого во мне, и недостает именно того, что не позволяло мне понять ее как следовало бы. И это впечатление самым странным образом усиливалось, стоило мисс Фэрли посмотреть на меня, другими словами, оно усиливалось в тот момент, когда я в полной мере сознавал гармонию и очарование ее лица и, однако, в то же самое время наиболее мучительно ощущал некое несовершенство, суть которого не мог себе объяснить. Чего-то недоставало, но чего именно – я не понимал.

Эта странная игра воображения (как думал я тогда) не способствовала непринужденности с моей стороны во время первой беседы с мисс Фэрли. Я с трудом нашелся с ответом на ее ласковое приветствие. Заметив мою нерешительность и, без сомнения, приписав ее, что естественно, минутной застенчивости с моей стороны, мисс Холкомб, в свойственной ей манере, подхватила разговор легко и непринужденно.

– Взгляните, мистер Хартрайт, – сказала она, указывая на альбом и на маленькую нежную ручку, листавшую его. – Осознаете ли вы, что наконец нашли свою самую образцовую ученицу? Как только она услышала, что вы приехали, тотчас схватила свой бесценный альбом, и вот она уже любит природу и горит нетерпением начать уроки...

Мисс Фэрли засмеялась с искренней веселостью, которая засияла на ее хорошеньком личике, подобно лучику солнца.

– Я не заслуживаю этих похвал, – сказала она, глядя своими ясными, искренними голубыми глазами попеременно то на мисс Холкомб, то на меня. – Хотя я и очень люблю рисовать, я слишком хорошо понимаю, что рисую плохо, и скорее боюсь, нежели желаю приступить к занятиям. Узнав, что вы здесь, мистер Хартрайт, я начала просматривать свои рисунки, как, бывало, в детстве просматривала школьные уроки, ужасно боясь, что не буду знать их.

Она высказала это признание очень мило и просто и с ребяческой серьезностью придвинула к себе альбом.

– Хороши ли, дурны ли рисунки, – по своему обыкновению, решительно сказала мисс Холкомб, – они должны подвергнуться строгому суду учителя, и все тут. Возьмем наши рисунки с собой в коляску, Лора, и пусть мистер Хартрайт увидит их в первый раз во время беспрерывной тряски, когда невозможно сосредоточиться на чем-либо. Если только нам удастся во время прогулки сбить его с толку, смешав впечатления от природы, какая она есть, когда он будет поднимать взгляд на окрестные пейзажи, и природы, какой она не бывает, когда он будет опускать взгляд на наши рисунки, с отчаяния ему придется искать спасительное прибежище – наговорить нам комплиментов; так рисунки проскользнут меж его ученых пальцев без особого оскорбления для нашего самолюбия.

– Я надеюсь, что мистер Хартрайт не будет говорить мне комплиментов, – сказала мисс Фэрли, когда мы выходили из беседы.

– Могу я осмелиться спросить, почему вы на это надеетесь? – спросил я.

– Потому что я поверю всему, что вы мне скажете, – ответила она простодушно.

В этих немногих словах мисс Фэрли бессознательно дала мне ключ к своему характеру, к тому великодушному доверию другим, которое в ее натуре невинно происходило из ее собственной правдивости. Тогда я почувствовал это инстинктивно. Теперь же я знаю это по опыту.

Миссис Вэзи все еще сидела за обеденным столом, когда мы весело подняли ее с места и предложили отправиться с нами на обещанную прогулку в открытой коляске. Старушка и мисс Холкомб сели сзади, а мисс Фэрли и я устроились напротив них. Между нами лежал альбом, открытый наконец для моих ученых глаз, но всякая серьезная критика, если бы даже я и был расположен высказать ее, сделалась невозможной, потому что мисс Холкомб решительно высмеивала изящные искусства, которыми занимались она и ее сестра, а также все прочие особы женского пола. Поэтому разговор я помню гораздо лучше, чем рисунки, которые просматривал чисто машинально. Особенно запомнилась мне та часть разговора, в которой

принимала участие мисс Фэрли, она так живо запечатлелась в моей памяти, словно я слышал этот разговор лишь несколько часов тому назад.

Да! Признаюсь, с первого же дня я позволил очарованию ее присутствия заставить меня забыть, забыть о своем положении. Самый незначительный вопрос, который она мне задавала: как держать кисть и смешивать краски, – малейшие перемены в выражении ее милых глаз, смотревших на меня с таким горячим желанием научиться всему, чему я мог ее научить, и узнать все, что я мог показать, привлекали мое внимание гораздо сильнее, чем прекрасные виды, мимо которых мы проезжали, или изменения светотеней, которые сливались над колеблющейся, волнистой степью и гладким берегом. Не странно ли, что предметы окружающего мира так мало влияют на наши сердца и души? Только в книгах мы ищем у природы успокоения, когда нам плохо, и сочувствия, когда нам хорошо. Восхищение красотами мира, так подробно и красноречиво воспетое современными поэтами, не принадлежит к числу инстинктов, даже лучших представителей рода человеческого. Нет этого инстинкта и у детей, и у необразованных людей. Те же, кто день за днем проводит жизнь среди вечно изменяющихся чудес моря и земли, и вовсе остаются нечувствительны к красотам природы, которая не имеет прямого отношения к их призванию в жизни. Наша способность ценить красоту земли, на которой мы живем, является одним из достижений цивилизованности, ей мы обучаемся, как любому другому искусству; кроме того, эта самая способность тогда только проявляется в нас, когда наше воображение не занято ничем другим. Какую же долю занимает красота природы в переживаемых нами и нашими друзьями приятных или тягостных волнениях? Какое место отведено ей в тысяче маленьких рассказов о личных увлечениях, которые каждый день мы передаем друг другу из уст в уста? Все, что наша душа может объять, все, чему наше сердце может научиться, может быть исполнено с равной пользой и с равным удовольствием для нас, как в самом великолепном, так и в самом некрасивом месте на земле. По всей вероятности, причина этого врожденного недостатка сочувствия между человеком и окружающим его миром кроется в их совершенно различных судьбах. Величайшая гора, какую только может охватить взор, со временем разрушится, так предназначено ей природой, в то время как самое ничтожное влечение, какое только в состоянии почувствовать человеческое сердце, бессмертно.

Мы катались уже около трех часов, когда наша коляска снова проехала через ворота Лимеридж-Хауса.

По пути домой я попросил дам самих выбрать первый вид, который они хотели бы нарисовать под моим руководством на следующий день. Когда они ушли переодеваться к обеду, а я вернулся в свою маленькую гостиную, веселость вдруг оставила меня, я почувствовал себя не в своей тарелке. Я сделался недоволен собой, сам не зная почему. Возможно, тогда я в первый раз осознал, что наслаждался нашей прогулкой как гость, а не как учитель рисования. Или же меня все еще не отпускало то странное ощущение, возникшее, когда я был впервые представлен мисс Фэрли. Во всяком случае, мне стало легче, когда обеденный час вызвал меня из моего убежища в общество хозяек дома.

Войдя в гостиную, я был поражен странным контрастом (больше в материале, чем в цвете) в платьях трех дам. Миссис Вэзи и мисс Холкомб были одеты роскошно (каждая в манере, присущей ее возрасту): первая в серебристо-сером платье, а вторая – в палевом, которое так шло к ее смуглому лицу и черным волосам; на мисс Фэрли, напротив, было самое простое белое кисейное платье. Безукоризненно чистое, превосходно сшитое, все же такое платье больше подошло бы жене или дочери какого-нибудь бедняка. Ее гувернантка была одета гораздо богаче, чем она сама. Впоследствии, когда я ближе познакомился с характером мисс Фэрли, я узнал, что этот странный контраст происходил от природной деликатности ее чувств и ее сильного отвращения к выставлению напоказ, пусть даже самому незначительному, своего богатства. Ни миссис Вэзи, ни мисс Холкомб не могли уговорить эту богатую девушку одеваться наряднее, чем они.

Когда обед закончился, мы все вместе вернулись в гостиную. Хотя мистер Фэрли (памятуя о величественном снисхождении монарха, поднявшего кисть Тициана) и приказал дворецкому поинтересоваться, какое вино я предпочитаю после обеда, во мне, однако, хватило решимости воспротивиться искушению провести вечер в великолепном одиночестве за бутылками собственного выбора и ума попросить у дам позволения на время моего пребывания в Лиммеридже выходить из-за стола вместе с ними, по вежливому заграничному обычаю.

Гостиная, в которую мы перешли, такая же большая, как столовая, была на нижнем этаже. Широкие стеклянные двери в дальнем конце комнаты открывались на террасу, прекрасно украшенную по всей длине множеством цветов. В вечернем сумраке листья и цветы сливались в один гармоничный оттенок. Когда мы вошли в комнату, нежный вечерний аромат цветов встретил нас своим благовонным приветствием сквозь открытую дверь. Добрая миссис Вэзи (всегда прежде всех спешившая усесться) завладела креслом в углу и преспокойно задремала. По моей просьбе мисс Фэрли села за фортепиано. Когда я пошел за ней к инструменту, то увидел, что мисс Холкомб расположилась у дальнего окна и стала просматривать письма матери при последних лучах вечернего света.

Как живо и спокойно представляется мне эта гостиная теперь, когда я пишу! Со своего места я мог видеть грациозную фигуру мисс Холкомб. Наполовину освещенная мягким вечерним светом, наполовину скрытая таинственной тенью, она внимательно просматривала письма, лежавшие у нее на коленях. А рядом со мной, на темнеющем фоне стены, тонко выделялся прелестный профиль той, что играла на фортепиано. На террасе от легкого вечернего ветерка еле покачивались цветы и вьющиеся растения, так тихо, что их шелеста не было слышно. Небо было безоблачным, и таинственный свет луны уже начинал дрожать на востоке. Уединение и тишина погружали все мысли и ощущения в какое-то неземное отдохновение; спокойствие, увеличивавшееся с меркнувшим светом, как будто парило над нами, между тем из фортепиано лились небесные звуки музыки Моцарта. Этот вечер нельзя забыть никогда.

Мы сидели в молчании: миссис Вэзи спала, мисс Фэрли играла, мисс Холкомб читала, – пока не стемнело. В это время луна приподнялась уже над террасой; мягкие таинственные лучи ее света засияли на дальнем конце комнаты. Этот свет был невыразимо прекрасен, так что в ту минуту, когда слуга принес свечи, мы, по общему согласию, велели унести их назад – лишь на фортепиано мерцали две свечи.

С полчаса еще музыка продолжалась. Потом прелесть лунного сияния на террасе поما-нила туда мисс Фэрли; я пошел за ней. Мисс Холкомб пересела поближе к фортепиано, чтобы продолжить просмотр писем при свечах. Мы оставили ее на низком кресле возле инструмента, до того погруженную в чтение, что она не заметила, как мы вышли.

Мы провели на террасе не более пяти минут; мисс Фэрли по моему совету повязала себе голову кружевным платочком, опасаясь ночной прохлады. Вдруг я услышал голос мисс Холкомб. Тихо и настойчиво, вовсе не таким веселым тоном, как обыкновенно, произнесла она мое имя.

– Мистер Хартрайт, – позвала она, – подите сюда на минутку. Мне нужно поговорить с вами.

Я тут же вошел в комнату. Мисс Холкомб сидела подле фортепиано, с той стороны, которая была дальше от террасы; письма в беспорядке лежали у нее на коленях; одно письмо она поднесла поближе к свече. Я расположился с другой стороны инструмента, на низенькой оттоманке. Я находился недалеко от стеклянных дверей и мог наблюдать, как мисс Фэрли ходила по террасе взад и вперед, с одного конца до другого, освещенная ярким лунным светом.

– Послушайте, я прочту вам несколько мест из этого письма, – продолжала мисс Холкомб. – А вы скажете, проясняют ли они хоть отчасти странное приключение, происшедшее с вами на лондонской дороге? Письмо написано моей матерью ее второму мужу, мистеру Фэрли, одиннадцать или двенадцать лет тому назад. К тому времени мистер и миссис Фэрли вместе с



моей сводной сестрой Лорой уже несколько лет жили в этом доме. Меня тогда здесь не было, я заканчивала свое образование в одной из парижских школ.

Мисс Холкомб говорила серьезно и, как мне показалось, не так спокойно, как обычно. В ту минуту, когда она поднесла письмо к свече, чтобы прочесть мне его, в комнату заглянула мисс Фэрли и, увидев, что мы заняты, медленно продолжила свою прогулку по террасе.

Мисс Холкомб начала читать:

– «Тебе, вероятно, надоело, любезный Филипп, постоянно слушать о моей школе и моих ученицах. Вيني в этом скучное однообразие жизни в Лиммеридже, а не меня. К тому же на сей раз я имею кое-что очень интересное рассказать тебе о моей новой ученице.

Ты знаешь старую миссис Кемпе, деревенскую лавочницу? В течение нескольких лет она страдала от неизлечимой болезни, и вот наконец доктор отказался от нее, и теперь бедняжка медленно умирает. На прошлой неделе к ней приехала ее сестра, единственная родственница, остававшаяся в живых. Она из Хэмпшира, зовут ее миссис Кэтерик. Четыре дня тому назад миссис Кэтерик пришла ко мне и привела с собой свою дочь, премиленькую девочку, годом старше нашей милой Лоры...»

Когда мисс Холкомб читала эту последнюю фразу, мисс Фэрли опять прошла по террасе. Она тихо напевала одну из мелодий, которые играла вечером. Мисс Холкомб подождала, пока она опять не скрылась из виду, и только тогда продолжила читать:

– «Миссис Кэтерик – женщина средних лет и очень приличной и порядочной наружности; на лице ее заметны еще остатки прежней миловидности, но в ее обращении есть, однако, что-то такое, чего я никак не могу понять. Она скрытна насчет себя самой до такой степени, что это может показаться таинственностью, а в лице ее есть выражение – не могу описать его, – ясно доказывающее, что у нее есть что-то на душе. Определенно, она скрывает какую-то тайну. Однако причина, по которой она пришла ко мне, сама по себе очень проста. Отправляясь из Хэмпшира ухаживать за больной сестрой, она была вынуждена взять с собой дочь, потому что ей не с кем было оставить девочку дома. Миссис Кемпе может умереть через неделю или прожить еще несколько месяцев, а потому миссис Кэтерик пришла просить меня позволить ее дочери Анне учиться в моей школе, с тем условием, что после смерти сестры она сможет забрать дочь домой. Я тотчас же согласилась, и, когда мы в этот же день пошли с Лорой гулять, я отвела девочку (которой теперь ровно одиннадцать лет) в школу».

Снова мисс Фэрли, в белоснежном кисейном платье, с личиком, окаймленным белыми складками платка, который она завязала под подбородком, прошла мимо нас, освещенная лунным светом. И снова мисс Холкомб подождала, пока она не исчезла из виду, и потом продолжила:

– «Я очень привязалась к моей новой ученице по причине, о которой пока умолчу, чтобы сделать тебе сюрприз. Миссис Кэтерик рассказывала о своей дочери так же мало, как и о себе самой. Вскоре я обнаружила (это стало известно в первый же день, когда мы посадили девочку в класс), что ум бедняжки развит не так, как следовало бы в ее возрасте. Поэтому на следующий же день я взяла Анну к себе, пригласив доктора осмотреть ее и сказать мне, что он о ней думает. Доктор нашел, что недостаток этот со временем, когда девочка вырастет, сойдет на нет, но что все-таки занятия в школе для нее чрезвычайно полезны, потому что хоть она и запоминает уроки очень медленно, зато крепко и навсегда. Не думай, однако, мой дорогой, что я привязалась к какой-то дурочке. Бедная Анна Кэтерик очень милая, ласковая, благодарная девочка. Иногда она говорит неожиданные, но от этого не менее милые вещи (как ты сам сейчас увидишь), правда говорит их как-то странно, словно боится чего-то. Хотя она всегда одета очень чистенько, платья ее сшиты дурно и в отношении расцветки безвкусно. Поэтому вчера я велела переделать для нее старые беленькие платьица и шляпки нашей милой Лоры, объяснив Анне, что девочкам с таким, как у нее, цветом лица лучше носить белое. Сначала она

растерялась и минуту была как будто в недоумении, но потом покраснела и, казалось, поняла. Она вдруг схватила своей маленькой ручкой мою руку, поцеловала ее, Филипп, и сказала (о, с каким жаром!): „Я всегда буду ходить в белом, пока я жива. Это будет напоминать мне о вас, мэм, так я буду думать, что все еще нравлюсь вам, даже когда я уеду и не увижу вас больше“. Это только один из примеров тех забавных выражений, которые она произносит так мило. Бедняжка! Я нашью ей целую кучу белых платьев, со множеством складочек и припусков, чтобы она могла удлинить их, когда вырастет...»

Мисс Холкомб замолчала и взглянула на меня.

– Та несчастная женщина, которую вы встретили на дороге, была молода? – спросила она. – Двадцати двух – двадцати трех лет?

– Да, мисс Холкомб.

– И она была странно одета: с ног до головы вся в белом?

– Вся в белом.

Когда этот ответ сорвался с моих губ, мисс Фэрли в третий раз прошла по террасе. Вместо того чтобы продолжить прогулку, она остановилась спиной к нам и, облокотившись на балюстраду террасы, стала смотреть в сад. Когда глаза мои устремились на ее белое платье и белый платок на голове, мной овладело ощущение, которого я не умею назвать, ощущение, от которого сильнее забилось мое сердце.

– Вся в белом! – повторила мисс Холкомб. – Самые важные сведения, мистер Хартграйт, находятся в конце письма, но прежде, чем дочитать его, я хотела бы подчеркнуть странное совпадение между белым платьем женщины, которую вы встретили, и белыми платочками, которые вызвали тот неожиданный ответ маленькой ученицы моей матери. Доктор, обнаружив у девочки недостаточное умственное развитие, по всей вероятности, ошибался, полагая, что со временем ее состояние изменится в лучшую сторону. Видимо, она так и осталась недоразвитой и странное желание девочки одеваться в белое, желание, внушенное ей признательностью, не изменилось, когда она повзрослела.

Я что-то ответил, но, право, не знаю, что именно. Все мое внимание в эту минуту было сосредоточено на белом платье мисс Фэрли.

– Послушайте последние строки письма, – сказала мне мисс Холкомб. – Думаю, они удивят вас.

Когда она поднесла письмо к свече, мисс Фэрли повернулась лицом к нам, нерешительно посмотрела на террасу, сделала шаг к стеклянной двери и остановилась напротив нас.

Между тем мисс Холкомб читала мне последние строки письма, о которых говорила:

– «А теперь, мой дорогой, заканчивая письмо, я назову тебе настоящую причину, удивительную причину моей привязанности к маленькой Анне Кэтерик. Милый Филипп, хотя она и наполовину не так хороша, однако же по одной из тех необыкновенных причуд случайного сходства, которое иногда встречается в жизни, ее волосы, ее глаза, овал и цвет лица совсем такие, как...»

Я вскочил с дивана, прежде чем мисс Холкомб успела произнести следующие слова. Меня охватил тот же леденящий душу ужас, который я испытал, когда почувствовал чье-то прикосновение к моему плечу на пустынной ночной дороге.

Белую одинокую фигуру мисс Фэрли освещала луна; в ее позе, повороте головы, в цвете и овале ее лица читалось живое сходство с женщиной в белом! Сомнение, мучившее меня уже несколько часов, превратилось в уверенность. Я вдруг понял, чего мне не хватало раньше: меня взволновало еще не осознанное в тот момент зловещее сходство между беглянкой из сумасшедшего дома и наследницей Лиммериджа!

– Вы это видите! – воскликнула мисс Холкомб. Она выронила письмо из рук, и глаза ее сверкнули, встретившись с моими. – Вы заметили это теперь, а моя мать – одиннадцать лет тому назад!

– Да, я вижу... и с большой неохотой, надо сказать. Признать пусть даже случайное сходство этой одинокой, несчастной женщины с мисс Фэрли для меня равнозначно тому, что бросить мрачную тень на будущее прекрасного создания, которое теперь смотрит на нас. Скорей освободите меня от этого ощущения. Позовите ее сюда, подальше от этого унылого лунного света, умоляю вас, позовите ее!

– Мистер Харттрайт, вы меня удивляете. Каковы бы ни были женщины, я полагала, что, по крайней мере, мужчины в девятнадцатом столетии несуетливы.

– Умоляю вас, позовите ее!

– Тише, тише! Она идет сама. Не говорите ничего в ее присутствии. Пусть это сходство будет тайной между нами. Лора, иди сюда и разбуди миссис Вэзи игрой на фортепиано. Мистер Харттрайт просит тебя сыграть еще что-нибудь, и на этот раз он желает, чтобы ты сыграла что-нибудь веселое и живое.

## IX

Так закончился мой первый, наполненный столькими событиями день в Лиммеридже.

Мисс Холкомб и я строго хранили нашу тайну. После обнаружения нами неоспоримого сходства мисс Фэрли и Анны Кэтерик более ни один луч не пролил свет на загадку женщины в белом. При первом удобном случае мисс Холкомб осторожно завела со своей сестрой разговор об их матери, о прежних днях и об Анне Кэтерик. Воспоминания мисс Фэрли о маленькой ученице в Лиммеридже были, однако, весьма смутными и неопределенными. Она помнила о своем сходстве с любимой ученицей ее матери как о чем-то существовавшем давным-давно, но не упомянула ни о подаренных девочке белых платьях, ни о странных словах, которыми дитя столь бесхитростно выразило за них свою признательность. Мисс Фэрли помнила, что Анна провела в Лиммеридже лишь несколько месяцев, а потом вернулась домой, в Хэмпшир, но она не могла сказать, посещали ли мать с дочерью замок еще когда-нибудь и не было ли о них слышно чего-нибудь впоследствии. Дальнейшее изучение писем миссис Фэрли, предпринятое мисс Холкомб, не дало никаких результатов. Мы установили, что несчастная женщина, которую я встретил ночью, была Анной Кэтерик. Мы предположили, что странное пристрастие одеваться только в белое можно объяснить ее некоторой умственной отсталостью и не угасающей с годами благодарностью к миссис Фэрли. На этом, как мы сочли тогда, наше расследование завершилось.

Проходили дни, недели, и предвестники золотой осени уже пробивались сквозь летнюю зелень деревьев. Спокойное, счастливое время! Мой рассказ скользит теперь по тем дням так же быстро, как когда-то проскользнули они. Сколько из столь щедро дарованных мне в те дни наслаждений осталось со мной, не утратив своей ценности, чтобы я мог описать их на этих страницах? Ни одного, кроме самого печального признания, какое только может сделать человек, признания в собственном безрассудстве.

Это признание тем легче сделать, что косвенно я уже выдал себя. Не слишком удачная попытка описать мисс Фэрли, по всей вероятности, уже объяснила мои чувства. Так бывает со всеми нами. Наши слова – великаны, когда идут во вред, и карлики, когда оказывают нам услугу.

Я любил ее.

О, как хорошо знакомы мне вся грусть и вся горечь, заключающиеся в этих словах! Я могу вздохнуть над моим печальным признанием вместе с самой чувствительной женщиной, читающей эти строки и сожалеющей обо мне. Я могу рассмеяться над ними так же горько, как самый жестокосердный мужчина, с презрением оттолкнувший их от себя. Я любил ее! Сочувствуйте мне или презирайте меня, и все-таки я признаюсь в моей страсти с непоколебимой решимостью поведать всю правду.

Могло ли найтись для меня оправдание? В некоторой степени меня оправдывало то положение, в какое меня поставили условия, с которыми я был принят в Лиммеридж.

Утренние часы я проводил спокойно в тихом уединении своей комнаты. Работы по реставрации рисунков моего хозяина у меня было в достатке, чтобы глаза мои и руки были заняты, в то время как разум оставался свободным и мог предаваться опасным излишества моего необузданного воображения. Губительное одиночество, ибо оно длилось достаточно долго, чтобы лишить меня воли, и не достаточно долго, чтобы укрепить ее. Губительное одиночество, ибо ему на смену приходили часы, которые день за днем, неделя за неделей я проводил исключительно в обществе двух женщин, из которых одна обладала всеми дарованиями грации, ума и образования, а другая – всем очарованием красоты, кротости и правдивости, которые очищают и покоряют сердце мужчины. В этой опасной близости ученицы и учителя проходили дни: так часто рука моя лежала подле ее руки, моя щека, когда мы склонялись над альбомом для эскизов, почти касалась ее щеки. Чем внимательнее наблюдала она за движением моей кисти, тем ближе ко мне был запах ее волос, ее теплое, сладостное дыхание. Я жил светом ее глаз. Порой мне приходилось сидеть к ней так близко, что я трепетал из опасения коснуться ее; порой она так низко склонялась надо мной, чтобы посмотреть на мой рисунок, что голос ее невольно становился тише, когда она обращалась ко мне, а ленты ее шляпки, колеблемые ветром, задевали мое лицо прежде, чем она успевала их отвести. Все эти ощущения составляли, так сказать, неотъемлемую часть моего учительского бытия. Вечера, следовавшие за дневными прогулками, скорее разнообразили, нежели препятствовали этой невинной и столь неизбежной близости. Моя страсть к музыке, которую Лора исполняла так изящно, так тонко, и ее непритворная радость оттого, что она может доставить мне удовольствие своей игрой на фортепиано, какое я доставлял ей своим рисованием, еще крепче связывали нас друг с другом. Случайно оброненные в разговоре слова, простота нравов, которая допускала наше соседство за обеденным столом, шутки мисс Холкомб, по обыкновению направленные против усердия учителя и рвения ученицы, сонное одобрение бедной миссис Вэзи, считавшей меня и мисс Фэрли двумя образцовыми молодыми людьми, потому что мы ее никогда ничем не побеспокоили, – все эти и многие другие пустяки сближали нас в уютной домашней атмосфере и неизбежно вели нас обоих к одному безнадежному концу.

Мне следовало бы помнить о моем зависимом положении и сохранять свои чувства в тайне от других. Я так и сделал, но было уже слишком поздно. Благоразумие и опытность, хранившие меня от многочисленных искушений, на этот раз подвели меня. По роду своей профессии в прошлом мне часто приходилось вступать в отношения с молодыми девушками всех возрастов и всех сортов красоты. Я примирился с этим положением как с неотъемлемой частью моего призвания в жизни; я приучился оставлять все симпатии, свойственные моему возрасту, в передней так же хладнокровно, как оставлял там зонтик, прежде чем пройти в комнаты. Я давно привык спокойно, как самую обыденную вещь, воспринимать свое положение учителя: это положение само по себе является достаточным основанием, чтобы ни одна из моих учениц не могла почувствовать ко мне нечто большее, нежели простой интерес; я был допущен в общество самых прелестных и пленительных женщин, как допускалось к ним какое-либо безвредное ручное животное. Я рано научился благоразумию, оно сурово и строго вело меня по моему скудному жизненному пути, не позволяя свернуть ни вправо, ни влево. И вот я впервые позабыл о моем верном талисмане. Да, столь трудно давшееся мне самообладание оставило меня, словно не было свойственно мне вовсе, оставило, как оставляет время от времени и других представителей мужской расы, когда дело касается женщин. Мне следовало задуматься об этом с самого начала. Я должен был уже тогда спросить себя, почему любая комната, когда Лора входила в нее, становилась для меня самой лучшей комнатой на свете, а когда уходила, превращалась в пустыню; почему я всегда замечал и помнил о малейшей перемене в ее туалете, чего не замечал и не помнил прежде с другими женщинами; почему я смотрел на нее,

прислушивался к ее голосу и касался ее, когда мы пожимали руки, здороваясь утром и прощаясь вечером, с таким чувством, какого никогда раньше не испытывал. Я должен был заглянуть в свое сердце и, обнаружив в нем это новое зарождающееся чувство, вырвать его с корнем, пока оно еще не окрепло. Отчего же я был не в силах поступить столь очевидным образом? Объяснением этому, со всей простотой и ясностью, могут послужить уже оброненные мной три слова, которых более чем достаточно для моего признания. Я любил ее.

Шли дни и недели, подходил к концу третий месяц моего пребывания в Камберленде. Восхитительное однообразие жизни в нашем спокойном уединении несло меня на своих волнах, словно тихая речка. Воспоминания о прошлом, мысли о будущем, сознание непрочности и безнадежности моего положения – все это молчало во мне, погружая меня в обманчивый покой. Убаюканный, словно песней сирены, песней, напеваемой мне собственным сердцем, ничего не видя и не слыша вокруг, не сознавая грозящей мне опасности, я на всех парусах приближался к роковому концу. Предостережение, наконец пробудившее меня и заставившее честно взглянуть на проявленную слабость, было самое простое, справедливое и самое милостивое, ибо безмолвно исходило от нее самой.

Однажды вечером мы расстались как обычно. За все время нашего знакомства с моих губ не слетело ни одного слова, которое могло бы омрачить ее существование, вдруг открыв ей мои истинные чувства. Однако, когда мы встретились утром, в ней произошла перемена – перемена, объяснившая мне все.

Тогда я затрепетал, я и теперь еще трепещу от мысли, что я завладел святой святых ее сердца и открыл его тайну перед другими, как открыл свою. Скажу только, что в тот самый миг, когда она разгадала мою тайну, она разгадала и свою. За одну ночь она переменилась ко мне. Слишком искренняя по своей природе, чтобы обманывать других, она была слишком благородна, чтобы обманывать себя. Когда сомнение, которое я старался подавить, впервые поселилось в ее сердце, ее правдивое лицо выдало себя и сказала мне честно и просто: «Мне жаль его, мне жаль себя».

На лице мисс Фэрли отразилась какая-то еще мысль, понять которую я тогда, однако, не мог. Но я понимал, слишком хорошо понимал перемену в ее обращении со мной: как и прежде, приветливая и внимательная ко мне при других, она вдруг делалась грустной и обеспокоенной, спешила ухватиться за первое подвернувшееся занятие, когда нам случалось оставаться наедине. Я понимал, почему нежные губы ее улыбались теперь так редко, почему ясные голубые глаза глядели на меня то с ангельским состраданием, то с невинным недоумением ребенка. Но было в происшедшей с ней перемене что-то еще. Рука ее бывала холодна как лед, лицо застывало в неестественной неподвижности, во всех членах ее угадывалась скованность, вызванная постоянным страхом и укорами совести. Однако причина тому едва ли крылась в нашем внезапно осознанном взаимном влечении. Происшедшая в Лоре перемена каким-то необъяснимым образом сблизила нас, но, с другой стороны, так же необъяснимо начала разделять нас.

Терзаясь сомнениями, смутно ощущая за всем происходящим нечто скрытое, что мне еще только предстояло узнать, я стал искать возможное объяснение в выражении лица и поведении мисс Холкомб. Мы жили в постоянной близости, а потому любая серьезная перемена в ком-то из нас непременно повлекла бы за собой перемены в других. Именно это и случилось с мисс Холкомб. Хотя с уст ее не слетело ни единого слова, которое дало бы мне знать, что отношение мисс Холкомб ко мне изменилось, однако глаза ее усвоили новую привычку все время следить за мной. Иногда в ее взгляде читался едва сдерживаемый гнев, иногда с трудом подавляемый страх, иногда нечто такое, чего я тогда еще не мог понять.

Прошла неделя, а мы все по-прежнему чувствовали себя скованно в обществе друг друга. Мое положение, отягченное сознанием собственной слабости и невольной забывчивости относительно того, в каком качестве я был приглашен в Лиммеридж, – сознанием, столь

поздно пробудившимся во мне, – становилось невыносимым. Я чувствовал, что должен раз и навсегда освободиться от гнета, под тяжестью которого жил все последние дни, однако не знал, что лучше предпринять и что сказать сначала.

Из этого беспомощного и унижительного положения меня вызволила мисс Холкомб. Она поведала мне горькую, необходимую, неожиданную правду; ее сердечность помогла мне пережить потрясение от услышанного; ее здравый смысл и мужество помогли исправить то, что грозило непоправимым несчастьем мне и всем обитателям Лиммеридж-Хауса.

## Х

Это произошло в четверг, в конце третьего месяца моего пребывания в Камберленде.

Утром, когда я спустился к завтраку в столовую, я впервые не обнаружил мисс Холкомб на своем обычном месте за столом.

Мисс Фэрли гуляла на лужайке перед домом. Она кивнула мне в знак приветствия, но в столовую не вошла. Хотя ни один из нас не сказал другому ничего такого, что могло бы нарушить его спокойствие, все же какое-то странное смущение заставляло нас избегать встреч наедине. Она ждала на лужайке, а я в столовой, пока не придет миссис Вэзи или мисс Холкомб. Еще две недели назад с какой готовностью я бы присоединился к ее обществу, как охотно мы бы пожали друг другу руки и начали наш обычный разговор о том о сем!

Через несколько минут вошла мисс Холкомб. У нее был озабоченный вид, и она довольно рассеянно извинилась передо мной за свое опоздание.

– Меня задержала необходимость обсудить с мистером Фэрли ряд домашних дел, по поводу которых он хотел посоветоваться со мной, – сказала она.

Мисс Фэрли пришла из сада, и мы поздоровались. Рука ее показалась мне еще холоднее, чем обычно. Она не подняла на меня глаз и была очень бледна. Даже миссис Вэзи заметила это, когда вошла в столовую несколькими минутами позже.

– Должно быть, все из-за того, что ветер переменялся, – пролепетала старушка. – Ах, душечка, скоро наступит зима!

В наших с Лорой сердцах зима уже наступила!

Завтрак, обычно проходивший в приятных, оживленных обсуждениях того, чем мы займемся днем, на этот раз был краток и прошел в молчании. Мисс Фэрли как будто чувствовала тяжесть долгих пауз в разговоре и то и дело бросала на сестру умоляющие взгляды. Мисс Холкомб раз или два пыталась было заговорить, затем останавливалась в нерешительности, но все же в конце концов, выбрав самый нейтральный тон, произнесла:

– Я виделась сегодня с твоим дядей, Лора. Он считает, что следует приготовить красную комнату, и подтвердил то, о чем я тебе уже говорила. Это будет в понедельник, а не во вторник.

При этих словах мисс Фэрли опустила глаза. Ее пальцы нервно перебирали крошки на скатерти. Не только щеки, но и губы ее побледнели и заметно дрожали. Это стало очевидно не только мне. Заметив состояние сестры, мисс Холкомб решительно встала из-за стола, показав тем самым нам пример.

Миссис Вэзи и мисс Фэрли вышли из столовой вместе. Взгляд ласковых, грустных голубых глаз Лоры на один лишь миг остановился на мне, словно предсказывая неминуемую долгую разлуку. В ответ я почувствовал страшную боль в сердце, боль, давшую мне знать, что в скором времени я должен буду лишиться ее и что мне суждено любить ее в этой разлуке еще сильнее.

Когда дверь за ней затворилась, я повернулся к саду. Мисс Холкомб стояла со шляпой и шалью в руках у стеклянной двери, за которой открывался вид на лужайку перед домом, и внимательно смотрела на меня.

– Найдется ли у вас свободное время, прежде чем вы подниметесь к себе и приступите к работе? – спросила она.

– Конечно, мисс Холкомб, я всегда к вашим услугам.

– Мне нужно сказать вам несколько слов наедине, мистер Харттрайт. Возьмите свою шляпу и пойдемте в сад. В этот час нам никто не мешает.

Когда мы спустились по ступенькам на лужайку, мимо нас к дому прошел помощник садовника, совсем еще молодой паренек, с письмом в руке. Мисс Холкомб окликнула его.

– Не для меня ли это письмо? – поинтересовалась она.

– Нет, мисс; мне велели отдать его мисс Фэрли, – ответил паренек, протягивая мисс Холкомб конверт.

Мисс Холкомб взяла письмо и взглянула на адрес.

– Какой странный почерк! – чуть слышно сказала она. – Кто может писать Лоре? Откуда у тебя это письмо? – обратилась она к помощнику садовника.

– Мне дала его женщина, – ответил тот.

– Какая женщина?

– Уже в годах.

– Старая женщина? Ты ее знаешь?

– Не могу сказать, что она кто-то, кого я знаю, мисс. Она мне совершенно неизвестна.

– Куда она пошла?

– Туда, – ответил помощник садовника, медленно повернувшись к югу и одним широким жестом очерчивая всю южную часть Англии.

– Любопытно, – произнесла мисс Холкомб. – Должно быть, это просительное письмо. Отнеси его в дом и вручи кому-нибудь из слуг, – добавила она, возвращая пареньку конверт. – Идемте, мистер Харттрайт.

Она повела меня через лужайку, по той самой дорожке, по которой я следовал за ней на следующий день после моего приезда в Лиммеридж. У маленькой беседки, где мы впервые увидели с Лорой друг друга, она остановилась и заговорила, прервав молчание, которое хранила, пока мы шли:

– То, что мне нужно сказать вам, я могу сказать здесь.

С этими словами она вошла в беседку, села на один из расставленных вокруг стола стульев и указала мне на другой подле себя. Я начал подозревать, о чем пойдет речь, когда она еще только заговорила со мной в столовой, теперь же я был уверен, что не ошибся в своем предположении.

– Мистер Харттрайт, – сказала мисс Холкомб, – я начну с откровенного признания. Я скажу без всяких фраз, я их ненавижу, и без комплиментов, я их презираю, что за время вашего пребывания в Лиммеридже почувствовала к вам дружеское расположение. С самого начала меня расположил в вашу пользу рассказ о том, как вы обошлись с несчастной женщиной, которую встретили при столь необычных обстоятельствах. Может статься, поступок ваш был неблагоприятен, но он говорит о чуткости и доброте человека, благородного по своей природе, настоящего джентльмена. Я ждала от вас только хорошего, и вы не обманули моих ожиданий.

Она замолчала, но жестом поднятой руки дала мне знать, что не ждет от меня ответа, что она еще не все сказала. Когда я входил в беседку, я вовсе не думал о женщине в белом. Теперь же слова мисс Холкомб вызвали в памяти мое приключение. Мысль о нем не покидала меня на протяжении всего разговора, который закончился крайне неожиданно...

– Как ваш друг, – продолжила мисс Холкомб, – я скажу вам сейчас же, откровенно и напрямик: я разгадала вашу тайну, заметьте, без всякой помощи или намека от кого бы то ни было. Мистер Харттрайт, вы необдуманно позволили себе почувствовать привязанность к моей сестре, боюсь, что эта привязанность глубокая и искренняя. Я не желаю мучить вас, заставляя исповедоваться передо мной, потому что вижу и знаю, вы слишком благородны, чтобы отпи-

раться. Я даже не осуждаю вас, а только сожалею, что вы открыли свое сердце для безнадежной любви. Вы не покушались воспользоваться своим преимуществом: вы не вели тайных разговоров с моей сестрой. Вы виновны лишь в слабости и в невнимательности к собственным интересам, более ни в чем. Если бы вы хоть раз поступили не столь деликатно и не столь скромно, я, ни с кем не согласуя свое решение, велела бы вам покинуть наш дом сию же минуту. Я виню во всем ваш возраст и ваше положение, но не вас. Дайте мне руку – я вас огорчила, я огорчу вас еще больше, но делать нечего, – дайте руку вашему другу Мэриан Холкомб!

Неожиданная доброта и теплое, великодушное, оказанное мне столь бесстрашно, как равному, сочувствие тронули меня до глубины души, ибо выраженные с такой деликатной и благородной откровенностью они взывали прямо к моему сердцу, к моему мужеству и к моей чести. Я хотел взглянуть на мисс Холкомб, но мои глаза заволокло пеленой, когда она взяла меня за руку. Я хотел поблагодарить ее, но голос изменил мне.

– Выслушайте меня, – сказала она, великодушно не замечая моего волнения. – Выслушайте меня, и покончим с этим. Я испытываю истинное облегчение, что могу не касаться вопроса общественного неравенства, тягостного и жестокого по моему разумению, в связи с тем, что остается мне теперь сказать. Обстоятельства, которые заденут вас за живое, освобождают меня от необходимости причинять еще большую боль человеку, жившему в тесной дружбе под одной крышей со мной, унижительным напоминанием о его звании и положении в обществе. Вы должны оставить Лиммеридж, мистер Хартрайт, пока еще не поздно. Я обязана сказать вам это, впрочем я была бы обязана сказать вам то же самое, будь вы даже представителем самой древней и богатейшей фамилии в Англии. Вы должны покинуть нас не потому, что вы учитель рисования... – Она помолчала с минуту, повернулась ко мне и решительно положила руку на мою. – Не потому, что вы учитель рисования, – повторила она, – но потому, что Лора Фэрли помолвлена.

Последние слова мисс Холкомб, словно пуля, пронзили мое сердце. Рука моя не чувствовала руки, сжимавшей ее. Я не сделал ни одного движения, не произнес ни одного слова. Резкий осенний ветер, разметавший у наших ног опавшую листву, вдруг обдал меня холодом, словно мои безумные надежды тоже были мертвыми листьями, подхваченными очередным его порывом. Надежды! Помолвлена или нет, Лора все равно была недостижима для меня. Вспомнили бы об этом другие на моем месте? Нет, если бы они любили так, как любил я.

Острая боль прошла, на смену ей пришла тупая сковывающая боль. Я снова почувствовал руку мисс Холкомб, крепко сжимавшую мою руку; я поднял голову и взглянул на нее. Ее большие карие глаза были устремлены на меня, наблюдая за моей все усиливавшейся бледностью, которую я чувствовал, а она видела.

– Покончите с этим! – сказала мисс Холкомб. – Здесь, где вы впервые увидели ее, покончите с этим! Не поддавайтесь отчаянию, словно женщина. Вырвите его из сердца, растопчите, как подобает мужчине!

Сдержанная страстность, звучавшая в ее словах, сила ее воли, сконцентрированная в устремленном на меня взоре, в ее пожатии – она не выпустила моей руки, – передались мне, укрепили меня. С минуту мы сидели в молчании. И вскоре я мог оправдать ее веру в мое мужество: я, по крайней мере внешне, овладел собой.

– Вы пришли в себя?

– Настолько, мисс Холкомб, чтобы попросить прощения у нее и у вас; настолько, чтобы последовать вашему совету и доказать вам мою признательность хотя бы таким образом, если я не могу доказать ее иначе.

– Вы уже доказали ее своими словами. Мистер Хартрайт, нам больше нечего скрывать друг от друга. Я не утаю от вас, что моя сестра, вполне неосознанно впрочем, выдала себя. Вы должны покинуть нас ради нее, но и ради себя тоже. Ваше присутствие здесь, ваша неизбежная близость с нами – вполне невинная, видит Бог, во всех отношениях – истерзали ее,



сделали несчастной. Я, которая любит ее больше собственной жизни, я, научившаяся верить в это чистое, благородное, невинное существо, как я верю в Бога, слишком хорошо знаю, что она жестоко страдает от тайных угрызений совести с тех самых пор, как, вопреки ей самой, первая тень неверности по отношению к предстоящему браку закралась в ее сердце. Я не говорю – было бы бесполезно говорить об этом после случившегося, – что помолвка когда-либо сильно затрагивала ее чувства. Эта помолвка – дело чести, а не любви; отец Лоры благословил ее на этот брак перед своей смертью, два года тому назад. Лора не обрадовалась, но и не уклонялась от помолвки – она просто дала свое согласие. До вашего приезда она находилась в таком же положении, что и сотни других женщин, которые выходят замуж, не испытывая ни глубокой привязанности к будущему супругу, ни глубокого отвращения, вызванного им, и которые учатся любить своих мужей (если только они не учатся ненавидеть их!) уже после брака, а не до него. Не могу выразить, как глубоко я надеюсь, – и вы должны так же мужественно и самоотверженно надеяться, – что эти новые мысли и чувства, нарушившие ее прежние спокойствие и безмятежность, еще не укоренились настолько, чтобы их нельзя было вырвать. Ваше отсутствие – если бы я меньше верила в вашу честь, в ваше мужество, в ваш здравый смысл, я бы не положила на вас, как полагаюсь теперь, – ваше отсутствие поможет моим стараниям, а время поможет нам троим. Отрадно знать, что я не ошиблась, почувствовав к вам с самого начала доверие. Отрадно знать, что вы будете таким же честным, таким же благородным, таким же великодушным к своей ученице, в отношении которой вы имели несчастье забыть, каким вы были к той незнакомой и отверженной женщине, чей призыв о помощи был услышан вами.

Снова случайное напоминание о женщине в белом! Неужели не было возможности говорить о мисс Фэрли и обо мне, не вызывая воспоминаний об Анне Кэтерик и не ставя ее между нами, словно рок, избежать которого нет надежды?

– Скажите, как мне оправдаться перед мистером Фэрли за нарушение нашего договора? И после того как он примет мои извинения, скажите, когда мне уехать? Я обещаю безусловно повиноваться вам и вашим советам.

– Время не ждет, – ответила мисс Холкомб. – Вы слышали, как я говорила утром о понедельнике и о необходимости приготовить красную комнату. Гость, которого мы ожидаем в понедельник...

Дождаться конца ее фразы было выше моих сил. Открывшаяся мне истина и воспоминания о выражении лица мисс Фэрли и ее поведении за завтраком без труда объяснили мне, что гостем, которого ожидали в Лиммеридже, был ее будущий супруг. Я попытался сдержать себя, но что-то во мне всколыхнулось в тот миг, с чем я не мог совладать, и я перебил мисс Холкомб.

– Позвольте мне уехать сегодня же, – сказал я с горечью. – Чем скорее, тем лучше.

– Нет, не сегодня, – возразила она. – Единственная причина, на которую вы можете сослаться перед мистером Фэрли, чтобы объяснить ваш отъезд до истечения срока договора, – это то, что совершенно непредвиденное обстоятельство вынуждает вас просить его позволения немедленно возвратиться в Лондон. Вам следует подождать до завтра и объявить ему это после утренней почты, тогда он припишет внезапную перемену в ваших планах полученному из Лондона письму. Противно и постыдно прибегать к обману, даже самому безобидному, но я слишком хорошо знаю мистера Фэрли: если он заподозрит, что все это выдумки, он вас не отпустит. Поговорите с ним в пятницу утром, потом займитесь (в ваших собственных интересах, дабы не испортить впечатление в глазах вашего хозяина) неоконченной работой, постарайтесь оставить дела в полном порядке и уезжайте отсюда в субботу. И для вас, мистер Харт-райт, и для всех нас времени будет достаточно.

Прежде чем я успел заверить мисс Холкомб в том, что она может рассчитывать на мое строгое следование ее воле, мы оба вздрогнули, заслышав приближающиеся шаги. Кто-то из домашних искал нас. Я почувствовал, как зардели и тут же снова побледнели мои щеки. Могло

ли третье лицо, быстро приближающееся к нам в такое время и в таких обстоятельствах, быть мисс Фэрли?

Я испытал облегчение – так горестно и безнадежно изменилось мое положение, – истинное облегчение, когда особа, прервавшая наш разговор, появилась у входа в беседку, и я увидел, что это только ее горничная.

– Можно попросить вас на минуту, мисс? – сказала торопливо и взволнованно девушка.

Мисс Холкомб спустилась к ней, и они отошли от беседки на несколько шагов.

Я остался один. С безнадежной грустью, описать которую я не в силах, размышлял я о предстоящем возвращении в мое уединенное лондонское жилище, к одиночеству и отчаянию. Мысли о моей доброй старенькой матери и о сестре, которые так радовались моему месту в Камберленде и которых я так постыдно изгнал из своего сердца на долгий срок и только теперь впервые вспомнил о них, нахлынули на меня с любящим сожалением о прежних, позабытых мной друзьях. Мои мать и сестра, что почувствуют они, когда я вернусь к ним, бросив службу, с исповедью о моей печальной тайне? Они возлагали на меня столько надежд в тот прощальный счастливый вечер в Хэмпстеде.

Опять Анна Кэтерик! Даже воспоминание о прощальном вечере с матушкой и сестрой было теперь неразрывно связано с другим воспоминанием: о моем возвращении в Лондон в лунную ночь. Что это означало? Суждено ли нам встретиться с этой женщиной снова? Возможно. Знала ли она, что я живу в Лондоне? Да, я сам сообщил ей это до или после того, как она недоверчиво спросила меня, скольких баронетов я знаю. До или после? Я был еще слишком взволнован, чтобы вспомнить, когда именно.

Прошло несколько минут, прежде чем мисс Холкомб отпустила горничную и вернулась ко мне. Теперь она тоже выглядела взволнованной и расстроенной.

– Мы с вами условились обо всем необходимом, мистер Хартрайт, – сказала она. – Мы поняли друг друга, как настоящие друзья, и можем вернуться домой. Говоря откровенно, я беспокоюсь о Лоре. Она прислала сказать, что ей нужно немедленно видеть меня: горничная сообщила, что Лору, по-видимому, очень взволновало письмо, которое она получила утром, без сомнения, то самое письмо, которое я велела отнести в дом, когда мы шли с вами сюда.

Мы поспешили обратно. Хотя мисс Холкомб высказала мне все, что считала необходимым со своей стороны, я еще не успел сообщить ей всего, что хотел. С той минуты, как я понял, что гость, которого ожидали в Лиммеридже, – будущий супруг мисс Фэрли, я испытал горькое любопытство, горячее, ревнивое желание узнать, кто он такой. По всей вероятности, мне больше не представился бы случай спросить об этом, и я решил сделать это теперь.

– Вы были так добры, когда сказали, что мы понимаем друг друга, мисс Холкомб, – начал я. – Теперь, когда вы убедились в моей признательности за вашу снисходительность и в моей готовности повиноваться всем вашим желаниям, могу я осмелиться спросить вас... кто... – Я колебался, мне было тяжело думать о нем, но еще тяжелее было назвать его ее будущим мужем. – Кто этот джентльмен, с которым помолвлена мисс Фэрли?

Мисс Холкомб, очевидно, была сильно озабочена сообщением сестры. Она ответила поспешно и рассеянно:

– Очень состоятельный джентльмен из Хэмпшира.

Хэмпшир! Родина Анны Кэтерик. Опять и опять женщина в белом! В этом было что-то роковое!

– А как его зовут? – спросил я как можно более спокойным и равнодушным тоном.

– Сэр Персиваль Глайд.

Сэр... сэр Персиваль! Вопрос Анны Кэтерик – странный вопрос про баронетов, с которыми я был знаком, – изгладился из моей памяти, едва мисс Холкомб вернулась в беседку, и вдруг ее ответ снова напомнил мне о нем. Я остановился как вкопанный и посмотрел на нее.

– Сэр Персиваль Глайд, – повторила она, решив, будто я не расслышал ее ответ.

- Он баронет? – спросил я с волнением, которого уже не мог скрыть.  
Она помедлила, а потом довольно холодно ответила:  
– Баронет, разумеется.

## XI

На обратном пути домой не было сказано больше ни слова. Мисс Холкомб поспешила подняться к сестре, а я ушел в свою мастерскую приводить в порядок рисунки из коллекции мистера Фэрли, которые еще не успел отреставрировать и окантовать, прежде чем передать их в другие руки. Мысли, сдерживаемые до сих пор, делавшие мое положение еще более тягостным, нахлынули на меня лавиной, стоило мне остаться одному.

Она помолвлена, ее будущий муж сэр Персиваль Глайд. Человек с титулом баронета, владелец поместья в Хэмпшире.

В Англии живут сотни баронетов, а в Хэмпшире – десятки землевладельцев. Пока что у меня не было никаких причин подозревать, что слова женщины в белом относились именно к сэру Персивалю Глайду. И все же я относил их именно к нему. Потому ли, что теперь он был неразрывно связан в моем сознании с мисс Фэрли, которая, в свою очередь, была связана с Анной Кэтерик с того самого вечера, когда я заметил между ними зловещее сходство? Или потому, что утренние события до того расстроили меня, что я находился во власти иллюзий, которыми подпитывали мое воображение простые случайности, простые совпадения. Трудно сказать. Я только чувствовал, что те немногие слова, которыми мы обменялись с мисс Холкомб на обратном пути из беседки, странно подействовали на меня. Во мне все усиливалось предчувствие какой-то непонятной опасности, скрытой от нас до поры во мраке будущего. Сомнения – не стал ли я уже звеном в цепи событий, которую не в силах разорвать даже мой приближающийся отъезд из Камберленда; знает ли кто-нибудь из нас, какова будет развязка этих событий, а она непременно настанет, – терзали меня все больше. Каким бы горьким ни было страдание, причиняемое печальным концом моей краткой и самонадеянной любви, оно приглушалось еще более сильным ощущением – предчувствием чего-то угрожающего, что невидимо надвигалось на нас.

Я уже работал с рисунками чуть более получаса, когда в дверь постучали. После приглашения войти дверь отворилась и, к моему удивлению, в комнату вошла мисс Холкомб.

Она казалась рассерженной и взволнованной. Она схватила стул, прежде чем я успел придвинуть его к ней, и села подле меня.

– Мистер Хартрайт, – сказала она, – я надеялась, что все неприятные темы для разговоров между нами исчерпаны, по крайней мере на сегодня. Но это не так. Какой-то негодяй вздумал пугать мою сестру приближающимся замужеством. Вы видели, что я послала садовника с письмом к мисс Фэрли.

– Конечно.

– Это анонимное письмо – гнусная попытка оклеветать сэра Персиваля Глайда в глазах моей сестры. Оно так взволновало и напугало Лору, что мне стоило величайших трудов успокоить ее настолько, чтобы я могла прийти к вам. Я знаю, что это дело семейное, насчет которого мне не следовало бы советоваться с вами, тем более что оно не может быть вам интересно...

– Прошу прощения, мисс Холкомб, все, что касается счастья мисс Фэрли или вашего, вызывает у меня самый живой интерес.

– Очень рада это слышать. Вы единственный человек в доме, да и вне дома, кто может дать мне совет. О мистере Фэрли, с его состоянием здоровья и отвращением ко всякого рода трудностям и загадкам, нечего и думать. Пастор наш – добрый, но нерешительный человек, который не разбирается ни в чем, что не касается напрямую его обязанностей, а с соседями мы водим столь поверхностное знакомство, что к ним не обратишься в минуту тревожений и

опасности. Я хотела бы знать вот что: следует ли мне предпринять немедленные шаги к поиску того, кто написал письмо, или же подождать и обратиться к поверенному мистера Фэрли завтра? Это вопрос, возможно очень важный, – стоит ли терять день или нет? Скажите, что вы думаете об этом, мистер Хартрайт? Если бы не необходимость вынудила меня обратиться к вам в таких деликатных обстоятельствах за помощью, даже мое беспомощное положение, вероятно, не извиняло бы меня. Но теперь, после того, что произошло между нами сегодня, полагаю, я не поступаю дурно, закрывая глаза на то, что вы стали нашим другом всего три месяца назад.

Мисс Холкомб передала мне письмо. Оно начиналось сразу, без вступительных фраз и обращений, вот так:

«Верите ли Вы в сны? Я надеюсь, ради Вашего же блага, что да. Посмотрите, что говорится в Священном Писании о снах, и примите предостережение, которое я посылаю Вам, пока еще не поздно.

Прошлой ночью мне приснились Вы, мисс Фэрли. Мне снилось, что я стою в церкви: я – по одну сторону аналая, а священник в стихаре и с молитвенником в руках – по другую. Через некоторое время в церковь вошли мужчина и женщина, желающие совершить обряд венчания. Вы были невестой. Вы выглядели так прелестно и невинно в своем чудесном белом шелковом платье и длинной белой кружевной фате, что сердце замерло у меня в груди, а глаза наполнились слезами.

Это были благословенные небом слезы сострадания, молодая леди, но вместо того, чтобы литься из моих глаз, как текут они у всех нас по щекам, они превратились в два луча света, которые устремлялись все дальше и дальше к мужчине, стоявшему у аналая подле Вас, пока не коснулись его груди. Эти два луча изогнулись дугой, как две радуги, между ним и мной. Я посмотрела, куда они указывали, и мне открылись самые глубины его сердца.

Внешность мужчины, за которого Вы выходили замуж, была довольно приятная. Он был не высок и не низок, чуть ниже среднего роста. Веселый, оживленный мужчина лет сорока пяти. У него было бледное лицо и облысевший лоб, на голове росли темные волосы. Подбородок был выбрит, в то время как щеки и верхнюю губу украшали бакенбарды и усы каштанового цвета. Глаза карие и очень блестящие; нос такой прямой, красивый и изящный, что скорее подошел бы женщине. И руки тоже. Время от времени его беспокоили приступы сухого кашля, а когда он подносил свою правую руку к губам, чтобы прикрыть рот, на ней виднелся красный шрам от старой раны. Мне приснился Ваш жених? Вам лучше знать, мисс Фэрли, Вы сами видите, ошиблась я или нет. Прочтите дальше, что скрывается за этой внешностью, – умоляю Вас, прочтите и воспользуйтесь этим знанием себе во благо.

Я смотрела, куда устремлялись два луча света, и мне открылись самые глубины его сердца. Оно было черно, словно ночь, и на нем было написано красными пылающими буквами рукою падшего ангела: „Без жалости и без угрызений совести. Он сеял горести на пути других и будет жить, сея горести на пути той женщины, что стоит подле него“. Я прочла эти слова, и тогда лучи переместились выше и указали за его плечо; там, позади него, стоял дьявол и смеялся. И снова лучи переместились и осветили Ваше плечо; за Вами стоял ангел и плакал. И в третий раз переместились лучи и легли прямо между Вами и этим человеком. Они все ширились и ширились, оттесняя Вас друг от друга. Тщетно священник пытался отыскать венчальную молитву: она исчезла из его молитвенника; и он закрыл книгу и отложил ее в отчаянии. Я проснулась с глазами полными слез и с сильно бьющимся сердцем, ибо я верю в сны.

Верьте и Вы, мисс Фэрли, умоляю Вас, ради Вашего же блага, верьте, как верю я. Иосиф и Даниил и прочие в Священном Писании верили в сновидения. Разузнайте о прошлой жизни человека со шрамом на руке, прежде чем произнести слова, которые сделают Вас его несчастной женой. Не ради себя я предупреждаю Вас, но ради Вас самой. Я буду радеть о Вашем благополучии до последнего своего вздоха. В моем сердце всегда будет место для дочери Вашей

матушки, поскольку Ваша матушка была моим первым, моим лучшим и единственным другом».

Так заканчивалось это странное письмо, без всякой подписи.

Догадаться о том, кто написал письмо, по почерку не представлялось возможным. Оно было написано на линованной бумаге, буквы были выведены очень старательно, как в школьной тетради. Мелкий почерк был несколько слаб и тонок, с пометками, но ничем особым не выделялся.

– Это письмо не безграмотное, – сказала мисс Холкомб, – но вместе с тем оно, конечно, слишком бессвязно для письма образованного человека из высшего света. Упоминания о платье невесты и фате, а также другие выражения, по всей видимости, указывают на то, что письмо написано женщиной. Что вы об этом думаете, мистер Хартрайт?

– Полагаю, вы правы. Мне даже кажется, что это письмо написано не просто женщиной, а женщиной, чей разум несколько...

– Несколько расстроен? – подсказала мисс Холкомб. – Мне тоже так показалось.

Я не отвечал. Мой взгляд застыл на последней фразе письма: «В моем сердце всегда будет место для дочери Вашей матушки, поскольку Ваша матушка была моим первым, моим лучшим и единственным другом». Эти слова и сделанное мной предположение насчет здравого рассудка писавшей письмо подсказывали мысль, о которой я боялся даже подумать, не то чтобы высказать ее вслух. Я начал бояться за собственный рассудок. Слишком уж походило на навязчивую идею приписывать все странное и неожиданное одному и тому же скрытому источнику, одному и тому же зловещему влиянию. На этот раз я решил, защищая свое собственное мужество и свой здравый смысл, не поддаваться искушению и не делать никаких предположений, не подкреплённых фактами.

– Если есть хоть малейшая возможность разузнать, кто написал это письмо, – сказал я, возвращая его мисс Холкомб, – мне кажется, никакого вреда не будет, если мы воспользуемся случаем, если такой представится. Думаю, что нам надо поговорить с садовником о старухе, которая вручила ему письмо, а потом расспросить, не знает ли кто чего в деревне. Но позвольте сначала задать вам вопрос. Вы хотели посоветоваться завтра с поверенным мистера Фэрли. Разве нельзя обратиться к нему раньше? Почему не сегодня?

– Я могу объяснить это, только коснувшись некоторых подробностей, связанных с обручением моей сестры, о которых считала ненужным и нежелательным упоминать сегодня утром. Цель приезда сэра Персиваля Глайда в понедельник состоит в том, чтобы назначить день свадьбы, до сих пор этот вопрос еще не был решен. Он хочет, чтобы свадьба состоялась до конца года.

– Мисс Фэрли знает об этом? – спросил я нетерпеливо.

– И не подозревает. А после того, что случилось, я не возьму на себя ответственности сообщить ей об этом. Сэр Персиваль упомянул о своем желании только мистеру Фэрли, который сам сказал мне, что как опекун Лоры он готов поспособствовать этим планам. Он написал в Лондон нашему семейному нотариусу мистеру Гилмору. Тот сейчас находится по делам в Глазго и сможет заехать в Лиммеридж на обратном пути. Он приедет завтра и пробудет у нас несколько дней, так что сэру Персивалю представится возможность изложить свои доводы в пользу ускорения свадьбы. Если он преуспеет в этом, то мистер Гилмор отправится в Лондон, получив необходимые инструкции относительно брачного контракта моей сестры. Теперь вы понимаете, мистер Хартрайт, почему я хотела подождать до завтра. Мистер Гилмор – старый и испытанный друг двух поколений семьи Фэрли, и мы можем положиться на него, как ни на кого другого.

Брачный контракт! Эти слова пробудили в моем сердце отчаяние ревности, отравлявшее все лучшее во мне. Я начал было размышлять – трудно признаться в этом, но я не должен скрывать никаких подробностей этой ужасной истории, которую решил обнародовать, – я начал

было размышлять с надеждой, исполненной ненависти, об обвинениях против сэра Персиваля Глайда, выдвинутых в анонимном письме. Что, если эти обвинения имеют под собой почву? Что, если истина вскроется до того, как прозвучат роковые слова согласия и будет подписан брачный контракт? Я хотел бы думать, что чувство, придавшее мне в тот момент бодрости, объяснялось исключительно заботой о счастье мисс Фэрли, но мне не удалось обмануть себя в этом тогда, не стану я и сейчас обманывать других. Чувство это объяснялось мстительной, отчаянной, безнадежной ненавистью к человеку, который должен был стать ее мужем.

– Если мы можем что-нибудь разузнать, – сказал я под влиянием этого нового чувства, – то нам лучше не терять ни одной минуты. Я еще раз советую вам расспросить садовника, а затем навести справки в деревне.

– Думаю, в обоих случаях мне может понадобиться ваша помощь, мистер Харттрайт, – сказала мисс Холкомб, поднимаясь с места. – Пойдемте же немедленно, мистер Харттрайт, сделаем все, что в наших силах.

Я уже было распахнул перед ней дверь, но вдруг остановился, чтобы задать еще один важный вопрос, прежде чем мы покинем комнату.

– В анонимном письме есть описание жениха. Имя сэра Персиваля Глайда не упомянуто, я знаю, но имеет ли это описание некое сходство с ним?

– Оно совершенно точно, даже в том, что ему сорок пять лет.

Сорок пять! А ей не было еще и двадцати одного года! Мужчины его возраста женятся на девушках ее лет каждый день, и опыт показывает, что такие браки часто бывают очень счастливыми. Я это знал, и все же упоминание его возраста в сравнении с ее годами лишь усилило мою слепую ненависть и недоверие к нему.

– Даже в том, что на правой руке у него шрам от раны, которую он получил несколько лет тому назад, когда путешествовал по Италии. Нет сомнений, что писавшей письмо в мельчайших подробностях известна его наружность.

– А беспокоящий его кашель, который, насколько я помню, упоминается в письме?

– Да, все верно. Сэр Персиваль не обращает внимания на свой кашель, который иногда беспокоит его друзей.

– Полагаю, никаких слухов, порочащих его репутацию, до вас не доходило?

– Мистер Харттрайт! Я надеюсь, вы не настолько несправедливы, чтобы поддаться влиянию этого гнусного письма?

Я почувствовал, как кровь прилила к моим щекам, ведь я-то знал, что поддался его влиянию.

– Надеюсь, что нет, – ответил я смущенно. – Возможно, я не должен был спрашивать.

– Я не жалею, что вы об этом спросили, – сказала она, – потому что благодаря вашему вопросу могу отдать должное репутации сэра Персиваля. Нет, мистер Харттрайт, ни я, ни мои друзья не слышали про него ничего дурного. Он два раза одержал победу на выборах в парламент и прошел это испытание незапятнанным. Репутация человека, которому это удалось, безупречна.

Я молча открыл дверь перед мисс Холкомб и проследовал за ней. Она не убедила меня. Если бы с неба спустился ангел, дабы подтвердить ее правоту и открыть мне глаза, то и он не смог бы убедить меня. Мы обнаружили садовника за работой. Несмотря на все наши усилия, мы ничего от него не добились – так непроходимо глуп был этот мальчишка. Женщина, вручившая ему письмо, была в возрасте; она не сказала ему ни слова и очень спешила, уходя в южном направлении. Вот все, что мог рассказать нам садовник.

Деревня находилась к югу от замка. Итак, мы отправились в деревню.

## ХП

Терпеливо расспрашивая самых разных людей, мы обошли весь Лиммеридж. Трое из жителей деревни уверяли нас, что видели эту женщину, но так как они были не в состоянии описать ее и не сходились во мнении, в каком направлении она удалилась, то эти три блестящие исключения из правила всеобщего неведения так же мало помогли нам, как и их невнимательные соседи.

Наше безрезультатное расследование вскоре привело нас на край деревни, где находилась основанная миссис Фэрли школа. Когда мы проходили мимо здания, предназначенного для мальчиков, я предложил напоследок расспросить школьного учителя, который, как мы полагали, по роду своей службы должен был бы быть самым умным человеком в деревне.

– Боюсь, что в то время, как женщина проходила по деревне, учитель был занят со своими учениками, – возразила мисс Холкомб. – Но попробовать мы все же можем.

Мы вошли во двор. Чтобы зайти в школу, нам следовало обогнуть здание, пройдя мимо окна, у которого я остановился и заглянул в него.

Учитель сидел за кафедрой, спиной ко мне, и, по всей вероятности, увещевал в чем-то своих учеников, которые собрались все вместе перед ним, за одним только исключением. Этим исключением был крепкий светловолосый мальчуган, стоявший отдельно от остальных, на табурете в углу, – несчастный маленький Робинзон Крузо, оставленный на своем пустынном острове в наказание за какую-то провинность.

Когда мы подошли к двери – она была полуоткрыта, – до нас отчетливо донесся голос учителя. Мы на минуту остановились у порога.

– Ну так вот, дети, – произнес голос, – уразумейте то, что я сейчас скажу. Если я в нашей школе услышу еще хоть одно слово о привидениях, пеняйте на себя. Привидений не существует, и, следовательно, всякий мальчик, который верит в привидения, верит в то, чего нет. Мальчик же, который посещает нашу школу и верит в то, чего нет, идет наперекор здравому смыслу и тем самым нарушает дисциплину, а значит, должен быть примерно наказан. Все вы видите Джекоба Постлвейта, стоящего в углу. Он наказан не за то, что, по его словам, видел вчера привидение, но за то, что слишком неблагоприятен и упрям, чтобы внять доводам рассудка, и за то, что по-прежнему настаивает, будто видел привидение, тогда как я уже сказал ему, что этого просто не может быть. Если ничто другое не поможет, я палкой выбью это привидение из Джекоба Постлвейта; если же подобные глупости станут повторять остальные, я пойду дальше и выбью привидение из всех учеников.

– Кажется, мы выбрали неудачное время, – сказала мисс Холкомб в конце учительской речи, толкнув дверь и входя в класс.

Наше появление произвело сильное впечатление на мальчиков. По-видимому, они решили, что мы пришли специально для того, чтобы посмотреть, как будут наказывать Джекоба Постлвейта.

– Ступайте домой обедать, – сказал учитель, – все, кроме Джекоба. Джекоб останется стоять, где стоял. Пусть привидение принесет ему поесть, если хочет.

При исчезновении его школьных товарищей и надежды на обед мужество покинуло Джекоба. Он вынул руки из карманов, задумчиво посмотрел на них, медленно поднес их к лицу и старательно начал тереть глаза кулаками, сопровождая эти движения размеренным шмыганьем носа.

– Мы зашли расспросить вас кое о чем, мистер Демпстер, – обратилась мисс Холкомб к учителю, – и никак не ожидали застать вас за изгнанием привидений. Что это значит? Что здесь случилось?

– Этот негодник напугал всю школу, мисс Холкомб, уверяя, будто видел вчера вечером привидение, – ответил учитель. – Он все еще настаивает на своих абсурдных рассказах, несмотря на все мои уговоры.

– Удивительно! – сказала мисс Холкомб. – Я и подумать не могла, что у мальчиков достаточно воображения, чтобы увидеть привидение. От всего сердца желаю вам успешно справиться с этим новым добавлением к вашей тяжелой задаче – воспитывать юные умы в Лиммеридже, мистер Демпстер. А пока позвольте мне объяснить, что привело нас к вам и что нас интересует.

Она задала ему тот же вопрос, который мы задавали почти каждому из жителей деревни. Ответ был такой же неутешительный. Мистер Демпстер не видел женщины, которую мы разыскивали.

– Пожалуй, мы можем вернуться домой, – сказала мисс Холкомб, – видимо, мы ничего больше не узнаем.

Она поклонилась учителю и хотела было выйти из класса, когда ее внимание привлек несчастный Джекоб Постлвейт, жалобно хныкавший в углу. Ей вздумалось утешить маленького узника, и она сказала:

– Глупый мальчик, почему бы тебе не попросить прощения у мистера Демпстера и не пообещать ему не говорить больше о привидении?

– Да ведь я его действительно видел, – упорствовал Джекоб Постлвейт, выпучив глаза от ужаса и разразившись рыданиями.

– Вздор и чепуха! Ты не мог видеть ничего такого. Привидение, скажешь тоже! Какое же привидение...

– Прошу прощения, мисс Холкомб, – перебил ее учитель с некоторым беспокойством, – мне кажется, вам лучше не расспрашивать мальчика. Его глупую историю не стоит слушать, к тому же по неразумению своему он может...

– Что может? – резко спросила мисс Холкомб.

– Оскорбить ваши чувства, – ответил мистер Демпстер, очень расстроенный.

– Право, мистер Демпстер, это очень сомнительный комплимент моим чувствам, которые может оскорбить такой проказник! – Она с насмешкой повернулась к маленькому Джекобу. – А ну-ка, – сказала она, – я хочу знать все. Когда ты видел привидение, негодный мальчишка?

– Вчера, когда начало смеркаться, – ответил Джекоб.

– А, так ты видел его вчера вечером, в сумерках? И какое же оно было?

– Все белое, каким ему и полагается быть, – ответил этот знаток привидений с непоколебимой уверенностью в собственной правоте.

– И где же оно было?

– На кладбище, где ему и полагается быть.

– «Каким ему полагается быть» да «где ему полагается быть». Ты говоришь, глупый мальчик, так, как будто знаком с привидениями с младенчества! По крайней мере, ты хорошо выучил свой урок. Полагаю, ты можешь мне сказать, чей призрак это был?

– Я могу это сказать, – ответил Джекоб, кивая, с мрачным триумфом.

Мистер Демпстер несколько раз порывался заговорить, пока мисс Холкомб расспрашивала его ученика, и теперь решительно перебил Джекоба.

– Простите меня, мисс Холкомб, – сказал он. – Осмелюсь заметить, что своими расспросами вы только поощряете дурные наклонности мальчика.

– Я задам ему только еще один вопрос, мистер Демпстер, и буду совершенно удовлетворена. – Ну, – продолжила она, обращаясь к мальчику, – так чей же призрак это был?

– Призрак миссис Фэрли, – шепотом ответил Джекоб.

Эффект, который произвел на мисс Холкомб этот удивительный ответ, вполне оправдывал беспокойство, с каким учитель старался не дать ей его услышать. Мисс Холкомб покрас-



нела от негодования, обернулась к маленькому Джекобу так сердито, что тот от испуга снова залился слезами, хотела было что-то сказать ему, но сдержалась и затем, взяв себя в руки, обратилась к учителю:

– Бесплезно считать такого ребенка ответственным за свои слова. Я не сомневаюсь, что эту идею вложили ему в голову другие. Если в этой деревне есть люди, забывшие об уважении и благодарности к моей матери, которой стольким обязаны, я найду их. И если я имею хоть каплю влияния на мистера Фэрли, они поплатятся за это.

– Я надеюсь... Нет, я искренне уверен, мисс Холкомб, что вы ошибаетесь, – возразил учитель. – Все это от начала до конца глупая выдумка упрямого мальчишки. Он видел – или ему показалось, что он видел, – женщину в белом вчера вечером, когда проходил через кладбище, и уверяет, что фигура, реальная или воображаемая, стояла у мраморного креста, который все в Лиммеридже знают как памятник над могилой миссис Фэрли. Этих двух обстоятельств, конечно, достаточно, чтобы внушить мальчику ответ, который, естественно, так поразил вас.

Хотя мисс Холкомб и не была, по всей видимости, согласна с высказанным мнением, она, вероятно, почувствовала, что объяснение учителя было слишком разумным, чтобы открыто оспаривать его. Она только поблагодарила мистера Демпстера за внимание и пообещала повидать его снова, когда сомнения ее развеются. Затем она поклонилась и вышла из школы.

Во время этой странной сцены я стоял в стороне, внимательно слушал и делал собственные умозаключения. Как только мы снова остались одни, мисс Холкомб спросила меня, что я думаю обо всем услышанном.

– У меня сложилось вполне определенное мнение, – ответил я. – Рассказ мальчика, в этом я совершенно уверен, основан на подлинном факте. Признаюсь, мне очень хотелось бы увидеть памятник над могилой миссис Фэрли и изучить следы вокруг него.

– Вы увидите памятник. – Произнеся эти слова, она замолчала и погрузилась в размышления, пока мы шли на кладбище. – То, чему мы стали свидетелями в школе, – продолжила она спустя несколько минут, – настолько отвлекло мое внимание от содержания письма, что мне как-то странно снова вернуться к нему. Не прекратить ли нам наши поиски, а завтра поручить это дело мистеру Гилмору?

– Ни в коем случае, мисс Холкомб! То, что произошло в школе, напротив, убеждает меня, что мы должны продолжать, и еще более усердно.

– Но почему?

– Потому что подтверждает мое подозрение, зародившееся, когда вы дали мне прочесть анонимное письмо.

– Полагаю, мистер Хартрайт, у вас были причины скрывать от меня свое подозрение до сих пор?

– Я сам боялся поверить в него. Я считал его совершенно нелепым, думал, что это снова результат моего разыгравшегося воображения. Теперь же все изменилось. Не только ответы мальчишки, но также случайно оброненная учителем фраза подтвердили мою догадку. Быть может, дальнейшие события докажут, что я ошибался, мисс Холкомб, но в этот самый момент я не сомневаюсь, что мнимое привидение на кладбище и написавшая анонимное письмо женщина – одна и та же особа.

Мисс Холкомб остановилась, побледнела и пристально взглянула на меня:

– Кто же это?

– Мистер Демпстер, сам того не зная, дал нам подсказку. Когда он заговорил о фигуре, которую мальчишка видел на кладбище, он упомянул «женщину в белом».

– Не Анна ли это Кэтерик?

– Да, Анна Кэтерик.

Мисс Холкомб тяжело оперлась на мою руку.

– Не знаю почему, – сказала она тихо, – но в вашем подозрении что-то пугает меня. Я чувствую... – Она остановилась и попыталась улыбнуться. – Мистер Хартрайт, – продолжала она, – я покажу вам могилу и сразу же вернусь домой. Мне не следовало оставлять Лору так долго одну. Лучше мне вернуться и побыть с ней.

Мы подходили к кладбищу, когда мисс Холкомб произносила эти слова. Церковь, мрачное здание из серого камня, стояла в небольшой ложбине, так что была защищена от сильных ветров, дувших через вересковую пустошь, которая простиралась вокруг. Кладбище расположилось на склоне холма, немного в стороне от церкви. Обнесенное невысокой стеной из грубого камня, оно лежало под небом голое и открытое. И только с одной его стороны несколько невысоких деревьев отбрасывали тень на хилую, редкую траву, где струился по каменистому руслу ручеек. На кладбище вело три входа, каждый из которых обозначала лежавшая на земле и примыкающая к стене каменная ступень. Сразу за ручейком и деревьями, неподалеку от одного из трех входов, над могилой миссис Фэрли возвышался белый мраморный крест, отличавшийся от более скромных надгробий соседних могил.

– Дальше я могу не идти, – сказала мисс Холкомб, указывая на могилу. – Дайте мне знать, если обнаружите что-нибудь, подтверждающее вашу идею. Встретимся уже дома.

Она оставила меня одного. Я зашел на кладбище через ближайший к могиле миссис Фэрли вход.

Трава вокруг могилы была слишком низкая, а почва слишком твердая, чтобы на них запечатлелись следы. Разочарованный этим открытием, я внимательно осмотрел крест и квадратную мраморную плиту с надписью.

Из-за непогоды белый мрамор креста и памятной плиты местами загрязнился, однако мое внимание привлекла своей безупречной белизной дальняя от меня сторона памятника. Я присмотрелся и понял, что мрамор мыли – совсем недавно, мыли сверху вниз. На камне была видна резкая граница между отмытой и загрязненной частью, природа редко допускает подобные резкие переходы, значит здесь приложил руку человек. Но кто это был?

Я осмотрелся вокруг, пытаясь найти ответ на этот вопрос. Оттуда, где я стоял, не было видно ни единого признака жилья: кладбище находилось в полном распоряжении мертвецов. Я вернулся к церкви и обошел ее, потом вышел с кладбища через другой вход и очутился на дорожке, которая вела вниз к заброшенной каменоломне. Напротив каменоломни стоял маленький домик на две комнаты, рядом с которым пожилая женщина занималась стиркой.

Я подошел к ней и начал разговор о церкви и кладбище. Женщина охотно разговорила и с первых слов объяснила мне, что ее муж одновременно и могильщик, и причетник в церкви. Я в нескольких словах похвалил памятник миссис Фэрли. На что старуха покачала головой и сказала, что я не видел его в лучшем состоянии. Следить за ним было обязанностью ее мужа, но бедняга уже несколько месяцев как нездоров и так слаб, что едва доползает до церкви по воскресеньям, чтобы нести свою службу, памятник же тем временем остается в небрежении. Теперь же муж пошел на поправку и надеется, что через недельку или дней десять у него хватит сил почистить памятник.

Это известие объяснило все, что меня так интересовало. Я дал бедной женщине несколько монет и вернулся в Лиммеридж.

Очевидно, памятник мыла рука какого-то чужака. Соотнеся то, что я узнал к настоящему моменту, с тем, о чем я начал подозревать, услышав рассказ о привидении, замеченном в сумерках, я твердо решил в тот же вечер тайно понаблюдать за могилой миссис Фэрли, вернуться туда на закате и караулить до самой ночи. Крест был вымыт лишь наполовину, и, вероятно, та, что начала эту работу, должна была прийти снова, чтобы закончить ее.

По возвращении домой я рассказал мисс Холкомб о своих планах. Она удивилась и немного встревожилась, но ничего не возразила, только проговорила: «Дай бог, чтобы все кончилось хорошо». Когда она собралась уходить, я остановил ее, чтобы спросить, настолько

спокойно, насколько только это было возможно, о здоровье мисс Фэрли. Настроение последней несколько улучшилось, и мисс Холкомб надеялась уговорить ее выйти прогуляться, пока солнце еще не зашло.

Я вернулся в свою комнату и снова занялся коллекцией рисунков. Их было необходимо привести в порядок, кроме того, работа могла помочь занять мои мысли чем-нибудь, что отвлекло бы мое внимание от себя самого и от беспросветного будущего, открывавшегося передо мной. Время от времени я прерывался, чтобы посмотреть в окно и понаблюдать за тем, как солнце все ниже и ниже клонилось к горизонту. В одну из таких минут я увидел женщину на широкой гравиевой дорожке под моим окном. Это была мисс Фэрли.

Я не видел ее с утра, да и тогда почти не говорил с ней. Еще один день в Лиммеридже – вот все, что мне осталось, и, может статься, я никогда больше не увижу ее. Этой мысли было довольно, чтобы приковать меня к окну. Мне хватило такта спрятаться за шторой, чтобы она не заметила меня, даже если бы взглянула наверх, но не хватило сил удержаться от искушения неотрывно следовать за ней взглядом, пока она гуляла.

На ней была коричневая пелерина поверх простого черного платья. На голове та же простенькая соломенная шляпка, которая была на ней в тот день, когда я увидел ее впервые. Но теперь к шляпке была прикреплена вуаль, скрывавшая от меня ее лицо. За мисс Фэрли бежала маленькая итальянская левретка, постоянная спутница всех ее прогулок, обернутая в красивую красную материю, которая защищала нежную кожу собачки от холодного воздуха. Хозяйка, казалось, не обращала внимания на свою левретку. Она шла вперед, слегка склонив голову и спрятав руки под пелерину. Мертвые листья, подхваченные очередным порывом ветра, как и утром, когда я услышал о ее помолвке, теперь кружились у ее ног, то взметаясь, то падая, пока она прогуливалась в бледном свете угасающего заката. Левретка дрожала и прижималась к ее платью, желая привлечь внимание хозяйки. Но та по-прежнему не замечала ее. Она все дальше и дальше уходила от меня, а мертвые листья все кружились на дорожке перед ней, пока она совсем не скрылась из глаз, а я не остался один на один с моим растерзанным сердцем.

Через час я закончил работу. Солнце уже скрылось за горизонтом. Я взял в передней шляпу и пальто и выскользнул из дому никем не замеченный.

На небе собирались тучи, с моря дул холодный ветер. Берег был далеко, но шум прибоя, долетавший через вересковую пустошь, с монотонной унылостью отбивал ритм в моих ушах, когда я входил на кладбище. Кругом не было ни души. Оно показалось мне еще более пустынным, когда я выбрал место, откуда мог наблюдать, и стал ждать, устремив взгляд на белый крест, возвышавшийся над могилой миссис Фэрли.

## XIII

Кладбище располагалось на открытом месте, что заставляло меня быть осторожным в выборе места для наблюдения.

Главный вход в церковь был устроен со стороны кладбища. Церковная дверь была защищена притвором. После недолгого колебания, причиной которому стало врожденное отвращение скрываться, подобно вору в ночи, как ни необходимо это было для моей цели, я наконец решил войти в притвор. В его боковых стенах были проделаны узкие, похожие на бойницы, окна. Через одно из них я видел могилу миссис Фэрли. Через второе – каменоломню, возле которой был построен дом причетника. Передо мной, прямо напротив притвора, как на ладони открывался вид на кладбище, обнесенное низкой каменной стеной, и узкую полоску порывавшего холма, над которым неслись тяжелые, подсвеченные лучами закатного солнца тучи, гонимые сильным ветром. Не видно было ни одной живой души, ни одна птица не пролетела мимо меня, не лаяла даже собака из дома причетника. Паузы между унылым ропотом волн заполняли унылый шелест деревьев над могилой мисс Фэрли и тихое журчание ручейка в его каме-

нистом русле. Печальное место, печальный час. Уныние с каждой минутой все больше овладевало мной в моем укрытии.

Сумерки еще не сгустились, небо окрашивали отблески закатившегося солнца. Прошло чуть более получаса моего одинокого дозора, когда я услышал чьи-то шаги и голос. Шаги приближались из-за церкви, голос был женский.

– Не беспокойтесь, милочка, о письме, – говорил голос. – Я благополучно передала его мальчику, он без слов взял его. Он пошел своей дорогой, а я – своей, и никто не следил за мной, в этом я готова поручиться.

Эти слова взволновали меня, от предчувствия близости цели моего поиска сердце в груди больно сжалось. Говорившие замолчали, но шаги все приближались. Через минуту я увидел две фигуры, обе женские, прошедшие мимо окна притвора. Они направлялись прямо к памятнику, так что я мог разглядеть только их спины.

На одной из них были капор и шаль, на другой – длинная темно-синяя накидка с капюшоном, накинута на голову. Из-под накидки виднелся край ее платья. Сердце мое забилося сильнее, когда я увидел его цвет: оно было белое.

На полдороге между церковью и могилой они остановились, и женщина в накидке повернула голову к своей спутнице. Однако ее профиль, который я мог бы разглядеть, будь она в шляпке, скрывал тяжелый капюшон.

– Смотрите же ни в коем случае не снимайте этой теплой накидки, – сказал тот же голос, который я уже слышал, – голос женщины в капоре и шали. – Миссис Тодд была права, когда говорила, что вы вчера, вся в белом, выглядели очень приметно. Я немножко погуляю, пока вы здесь; признаюсь, кладбища мне вовсе не по душе, хотя вы их так любите. Заканчивайте же вашу работу поскорее, чтобы нам вернуться домой до ночи.

С этими словами она направилась обратно к выходу с кладбища. Теперь я видел ее лицо. Это было лицо пожилой женщины, смуглое, обветренное, пышущее здоровьем, ничего бесчестного или подозрительного в нем не было. Около церкви она остановилась и плотнее закуталась в шаль.

– Чудная девушка, – бормотала женщина про себя, – да и всегда такой была, сколько я ее помню. Вечно с разными причудами. Но зато уж как невинна, бедняжка, словно младенец!

Она вздохнула, оглянулась на кладбище, покачала головой, будто унылое зрелище совсем ей не понравилось, и скрылась за церковью.

Мгновение я сомневался, не пойти ли мне за ней, не заговорить ли? Мое непреодолимое желание встретиться лицом к лицу с ее спутницей помогло мне склониться к отрицательному ответу. Я смогу поговорить с женщиной в шали, дождавшись, когда та вернется на кладбище, хотя более чем сомнительно, чтобы она сообщила нечто интересовавшее меня. Лицо, передавшее письмо, не столь важно, как лицо, написавшее его, оно-то и есть единственный источник нужных мне сведений, и это лицо, теперь я был в этом убежден, находилось на кладбище.

Пока эти мысли пробегали в моей голове, я увидел, как женщина в накидке подошла к памятнику и с минуту смотрела на него. Потом она огляделась вокруг и, вынув из-под накидки белую тряпку или платок, направилась к ручью, намочила тряпку в воде и вернулась к могиле. Я видел, как она поцеловала белый крест, потом опустилась на колени перед надписью и начала мыть ее.

Поразмыслив, как мне показаться, чтобы не испугать женщину, я решил обойти кладбище вокруг и войти на него через тот вход, который располагался ближе к могиле, чтобы она смогла заметить меня издали. Но она была так занята, что не слышала моих шагов, пока я не подошел довольно близко. Только тогда она подняла голову, вскочила на ноги, издав слабый крик, и застыла передо мной в немом ужасе.

– Не бойтесь, – сказал я, – вы, наверное, помните меня?

Я остановился, произнося эти слова, потом сделал несколько небольших шагов, снова остановился – так мало-помалу я подошел к ней совсем близко. Если у меня и оставались еще какие-либо сомнения, теперь они окончательно развеялись. На меня испуганно смотрела та самая женщина, которую я впервые увидел ночью на большой дороге.

– Вы помните меня? – спросил я. – Мы встретились глубокой ночью, и я помог вам найти дорогу в Лондон? Вы, конечно, не забыли этого?

Черты ее смягчились, и она с облегчением вздохнула. На моих глазах нахлынувшее воспоминание вывело ее из оцепенения, которым все ее члены сковал страх.

– Ничего не говорите, – продолжал я. – Дайте себе время успокоиться и убедиться, что я ваш друг.

– Вы очень добры ко мне, – прошептала она. – И теперь так же добры, как тогда.

Она замолчала, я тоже молчал. Не одной ей я давал время успокоиться, я выигрывал время и для себя. Эта женщина и я снова встретились в тусклом вечернем свете, между нами могила, вокруг нас мертвецы и уединенные горы со всех сторон. Время, место, обстоятельства, при которых мы оказались с ней лицом к лицу в сумрачном безмолвии этой унылой ложбины, вся дальнейшая жизнь, зависевшая от каких-то случайных слов, которыми нам предстояло обменяться, сознание, что все будущее Лоры Фэрли зависело от того, сумею ли я заслужить доверие этой несчастной, которая стояла, трепеща, у могилы ее матери, – все это грозило поколебать во мне твердость и самообладание, от которых зависел сейчас мой успех. Сознывая это, я приложил все силы, чтобы сохранить хладнокровие, и сделал все, что мог, чтобы эти несколько минут раздумья послужили на пользу.

– Вы немного успокоились? – спросил я, как только решил, что можно снова обратиться к ней. – Можете ли вы говорить со мной, не испытывая страха и не забывая, что я ваш друг?

– Как вы попали сюда? – спросила она, не обращая внимания на мои слова.

– Разве вы не помните, что я вам говорил, когда мы виделись в первый раз, что собираюсь в Камберленд. Тогда-то я и приехал сюда и все это время жил в Лиммеридж-Хаусе.

– В Лиммеридж-Хаусе! – Ее бледное лицо просияло, когда она повторила эти слова, блуждающий взгляд остановился на мне с внезапным интересом. – Ах, как, должно быть, вы там счастливы! – сказала она, глядя на меня без тени прежнего недоверия.

Я воспользовался пробудившимся в ней доверием ко мне, чтобы рассмотреть ее лицо с вниманием и любопытством, которые до сих пор старался не показывать из осторожности. Я смотрел на нее, а в памяти моей всплывал образ другого прелестного существа, так зловеще напомнившего мне тогда, на террасе, в лунном свете, Анну Кэтерик. Тогда я заметил сходство мисс Фэрли с Анной Кэтерик. Теперь я видел сходство Анны Кэтерик с мисс Фэрли, видел тем яснее, чем отчетливее делалось для меня различие в их внешности. Что касается выражения и черт лица, цвета волос, нервного подергивания рта, роста, осанки и поворота головы, сходство казалось еще более поразительным, чем представлялось мне раньше. Но на этом оно и заканчивалось, и начиналось различие в отдельных подробностях. Прелестного цвета лица мисс Фэрли, прозрачной ясности ее глаз, гладкой чистоты ее кожи, розовой нежности губ не доставало этому изнуренному, поблекшему лицу, на которое я смотрел. И хотя сама эта мысль была мне ненавистна, все же, когда я глядел на женщину перед собой, мне пришло на ум, что одна какая-либо печальная перемена в будущем могла сделать их сходство совершенным. Если когда-нибудь горе и страдание осквернят юность и красоту мисс Фэрли своими следами, тогда, и только тогда Анна Кэтерик и она станут сестрами-близнецами, живым отражением друг друга.

Я затрепетал от этой мысли. Было что-то ужасное в слепом, безрассудном недоверии к будущему, которое она зародила во мне. Я был даже рад, что этот поток размышлений был прерван Анной Кэтерик, положившей руку мне на плечо. Прикосновение было так же тихо и

внезапно, как то, другое прикосновение, которое повергло меня в ужас в ту ночь, когда мы встретились в первый раз.

– Вы смотрите на меня и думаете о чем-то, – проговорила она быстро, едва не задыхаясь. – О чем?

– Ни о чем особенном, – ответил я. – Пытался понять, каким образом вы оказались здесь?

– Я приехала с подругой, которая очень добра ко мне. Я здесь только два дня.

– И вчера вы приходили сюда, на кладбище?

– Откуда вам это известно?

– Просто догадался.

Она отвернулась от меня и снова опустилась на колени перед надписью.

– Куда же мне идти, как не сюда? – сказала она. – Здесь мой друг, который был мне ближе матери, единственный друг, к которому я могу прийти в Лиммеридже. О, мое сердце разрывается, когда я вижу хоть одно пятно на ее могиле! В память о ней ее памятник должен быть белоснежным. Мне хотелось помыть его вчера, так что сегодня я непременно должна была прийти снова, чтобы закончить свою работу. Разве в этом есть что-нибудь дурное? Надеюсь, что нет. В том, что я делаю в память о миссис Фэрли, не может быть ничего дурного.

Чувство благодарности за доброту, проявленную в прошлом ее благодетельницей, очевидно, по-прежнему оставалось руководящей идеей для бедного создания, чей ограниченный ум не воспринимал никаких новых впечатлений, кроме тех, что поселились в нем в детстве, в те счастливые дни. Я понимал, что смогу завоевать ее доверие, только если предложу ей продолжить ее невинное занятие, ради которого она пришла на кладбище. Она немедленно принялась за свою работу снова, как только я сказал ей, что она может продолжать; она прикасалась к мрамору так нежно, будто это было живое существо, и безостановочно шептала слова надгробной надписи, будто вернулась в дни минувшего детства и опять терпеливо заучивала урок, сидя на коленях миссис Фэрли.

– Вы очень удивитесь, – сказал я, осторожно нащупывая почву для будущих вопросов, – если я признаюсь, что видеть вас здесь для меня и приятно, и странно? Я очень беспокоился за вас после того, как вы уехали от меня в кебе.

Она быстро подняла голову и подозрительно посмотрела на меня.

– Беспокоились? – повторила она. – Но почему?

– После того как мы расстались с вами в ту ночь, со мной приключилось нечто престранное. Меня нагнали двое мужчин, ехавших в коляске. Они не видели меня, но остановились совсем близко и заговорили с полицейским, который шел по другой стороне улицы.

В ту же секунду она прекратила свое занятие. Рука, в которой она сжимала мокрую тряпку, упала на мраморную плиту. Другой рукой она ухватила за крест у изголовья могилы. Лицо ее медленно повернулось ко мне, на нем застыло выражение ужаса. Я решил продолжать, чего бы мне это ни стоило, отступать было некуда.

– Мужчины заговорили с полицейским, – сказал я. – Они спрашивали, не видел ли он вас. Он не видел, и тогда один из этих мужчин сообщил, что вы сбежали из сумасшедшего дома.

Она вскочила на ноги, словно мои последние слова были знаком для ее преследователей.

– Пойдите! Выслушайте меня до конца! – крикнул я. – Пойдите же, и вы узнаете, какую услугу я вам оказал! Стоило мне произнести одно только слово, и мужчины узнали бы, в каком направлении вы скрылись, но я им ничего не сказал. Я помог вам скрыться. Подумайте, ну постарайтесь же. Попытайтесь понять, что я вам говорю.

Манера, с которой я произносил эти слова, кажется, подействовала на нее больше, чем сами слова. Она силилась понять их. Она перекладывала мокрую тряпку из руки в руку, точь в точь как она перекладывала сумочку в ту памятную ночь. Мало-помалу смысл моих слов стал доходить до ее смятенного, расстроенного сознания. Постепенно выражение ее лица смягчилось, и она взглянула на меня уже не со страхом, а с любопытством.

– Вы не считаете, что меня надо вернуть в лечебницу? – спросила она.

– Конечно нет. Я рад, что вы убежали оттуда, рад, что помог вам.

– Да, да, вы действительно помогли мне, помогли в самом трудном, – продолжала она. – Убежать было легко. Меня никогда не подозревали, как подозревали других. Я была так тиха, так послушна, так пуглива! Труднее всего было найти Лондон, и в этом мне помогли вы. Поблагодарила ли я вас тогда? Если нет, благодарю вас теперь от всей души.

– А далеко ли от того места, где мы встретились, находилась лечебница? Прошу вас, докажите же, что считаете меня вашим другом, и скажите, где она находилась.

Она назвала место. Оно-то и подсказало мне, что речь идет о частной лечебнице для душевнобольных, располагавшейся неподалеку от того места, где я ее увидел впервые. Потом, по всей вероятности заподозрив, что я могу использовать ее ответ против нее самой, она взволнованно повторила свой прежний вопрос:

– Вы не считаете, что меня надо вернуть в лечебницу?

– Повторяю, я рад, что вы убежали оттуда, рад, что у вас получилось все задуманное после того, как вы покинули меня, – ответил я. – Вы говорили, что едете в Лондон к подруге. Вы разыскали ее?

– Да. Было уже очень поздно, но одна девушка засиделась в доме за шитьем, она помогла мне разбудить миссис Клеменс – так зовут мою подругу. Она добрая, ласковая женщина, но не такая, как миссис Фэрли. Ах, на всем белом свете нет никого, кто мог бы сравниться с миссис Фэрли!

– Миссис Клеменс – ваша давняя подруга? Сколько вы с ней знакомы?

– Она была нашей соседкой, когда мы жили в Хэмпшире, она любила меня и заботилась обо мне, когда я была еще маленькой. Много лет назад, когда она уезжала от нас, она написала в моем молитвеннике адрес, по которому собиралась жить в Лондоне, и сказала: «Если вам когда-нибудь нужна будет моя помощь, Анна, приезжайте ко мне. Муж мой умер, стало быть я сама себе госпожа. Нет у меня и детей, за которыми надо было бы присматривать, вот я и буду заботиться о вас». Ласковые слова, не правда ли? Думаю, я и помню их именно поэтому. Больше я почти ничего не помню... почти ничего...

– Разве у вас нет ни отца, ни матери, чтобы позаботиться о вас?

– Отца? Я никогда его не видела. И никогда не слышала о нем от матери. Отца? Ах, господи, должно быть, он умер.

– А ваша мать?

– Я с ней не в ладах. Мы как-то боимся друг друга.

«Боимся друг друга»? При этих словах во мне впервые шевельнулось подозрение, уж не мать ли поместила несчастную в заключение в сумасшедший дом.

– Не спрашивайте меня о моей матери, – продолжала она. – Лучше я расскажу вам о миссис Клеменс. Как и вы, она не считает, что я должна вернуться в лечебницу; как и вы, она рада, что я убежала оттуда. Она плакала над моей бедой и сказала, что ее надо скрывать от всех.

Над ее «бедой»? Что она имела в виду? Не эта ли «беда» стала причиной для написания анонимного письма? Не употребила ли она это слово в том слишком обычном смысле, из-за чего женщины так часто прибегают к анонимным письмам, чтобы помешать браку погубившего их мужчины? Я решил выяснить, что она подразумевала, прежде чем другие слова будут сказаны между нами.

– Какой бедой? – спросил я.

– Той бедой, что меня заперли в лечебнице, – ответила она, всем видом показывая, что удивлена моему вопросу. – Какая же еще беда может быть?

Я решил непременно продолжать свои расспросы, но как можно более деликатно и терпеливо. Необходимо было быть совершенно уверенным в каждом следующем шаге предпринимаемого мной расследования.

– Есть и другая беда, – сказал я, – которая может обрушиться на женщину и из-за которой она всю жизнь будет терпеть горе и позор.

– Что же это такое? – спросила она с любопытством.

– Это когда женщина слишком полагается на собственную добродетель и слишком доверяется чести мужчины, которого любит, – ответил я.

Она взглянула на меня с безыскусственным изумлением ребенка. Я не заметил в ее лице ни малейшей перемены, ни следа замешательства, ни тайного сознания стыда... А между тем в иные минуты оно так прямодушно и ясно обнаруживало любое душевное волнение. Никакие слова не могли бы убедить меня сильнее, чем убеждало выражение лица Анны Кэтерик, что причина, побудившая ее написать письмо и отправить его мисс Фэрли, очевидно, была совсем не той, которую я заподозрил в самом начале. Как бы то ни было, это сомнение теперь развеялось, однако с этого момента все становилось еще более запутанным. Письмо хоть и не называло, но определенно указывало на сэра Персиваля Глайда. Бедная женщина должна была иметь очень вескую причину, вероятно основывавшуюся на чувстве глубокой обиды, чтобы тайно оговаривать его перед мисс Фэрли в тех выражениях, которые были ею использованы в письме, и эта причина неоспоримо заключалась не в потере ею невинности и репутации. Какое бы оскорбление ни нанес он ей, оно, по всей вероятности, было иного рода. Что же это было за оскорбление?

– Я вас не понимаю, – сказала она после очевидных и тщетных усилий понять смысл моих слов.

– Что ж, давайте лучше продолжим наш разговор. Расскажите мне, долго ли вы прожили с миссис Клеменс и как оказались здесь.

– Долго ли? – повторила она. – Я оставалась у миссис Клеменс до тех пор, пока мы не приехали сюда два дня назад.

– Значит, вы живете в деревне? – спросил я. – Странно, что я не слышал о вас, хотя вы здесь уже два дня.

– Нет-нет, не в деревне, а за три мили отсюда, на ферме. Вы знаете эту ферму? Ее называют «Уголок Тодда».

Я очень хорошо помнил это место: мы часто проезжали мимо во время наших прогулок. Это была одна из самых старых ферм в окрестностях, располагавшаяся в уединенной, пустынной местности, зажата между двух гор.

– Хозяева фермы находятся в родстве с миссис Клеменс, – продолжала Анна Кэтерик, – и они часто приглашали ее погостить. Она сказала, что поедет и возьмет меня с собой, поскольку тут спокойно и свежий воздух. Какая она добрая, не правда ли? Я отправилась бы куда угодно, только бы оказаться в спокойном, безопасном месте, подальше от людей. Но когда я услышала, что «Уголок Тодда» недалеко от Лиммериджа, о, я была так счастлива, что, казалось, готова была бы пройти весь путь босиком, только чтобы снова увидеть школу, и деревню, и Лиммеридж-Хаус. Добрые люди эти Тодды. Надеюсь, что смогу пожить у них подольше. Только одно мне не нравится в них и в миссис Клеменс...

– Что же это?

– Они дразнят меня из-за того, что я одеваюсь в белое, – они говорят, что это чудачество. Пусть их. Миссис Фэрли знала лучше. Уж она никогда не заставила бы меня надеть эту безобразную накидку! Ах, при жизни она так любила белое, и вот теперь над ее могилой белый памятник, и в память о ней я хочу сделать его еще белее. Она часто сама носила белое и всегда одевала в белое свою маленькую дочь. Здорова ли, счастлива ли мисс Фэрли? Ходит ли она, как и прежде, в белом?

Спрашивая о мисс Фэрли, она понизила голос и отвернулась от меня. По происшедшей в ней перемене я почувствовал, что инстинктивно она сознает, какому риску подвергла себя,



отправив анонимное письмо, и в тот же миг я решился сформулировать мой ответ таким образом, чтобы удивить ее и тем самым вынудить признаться.

– Этим утром мисс Фэрли была не слишком здорова и не слишком счастлива, – сказал я. Она прошептала несколько слов, но так неразборчиво и тихо, что я не смог их разобрать.

– Вы меня спрашиваете, почему мисс Фэрли нездорова и несчастлива сегодня? – продолжал я.

– Нет, – проговорила она быстро, – о нет, я ни о чем таком не спрашивала.

– И все же я скажу вам, хоть вы меня и не спрашивали об этом, – настаивал я. – Мисс Фэрли получила ваше письмо.

В продолжение нашего разговора она стояла на коленях и старательно смывала пятна с могильной плиты. При первых словах моей фразы она отложила свою работу и, не вставая с колен, медленно повернулась ко мне. Продолжение же буквально потрясло ее. Тряпка выпала у нее из рук, губы приоткрылись, а лицо побледнело еще сильнее.

– Откуда вы знаете о письме? – спросила она слабым голосом. – Кто вам его показывал? – Кровь вновь прилила к ее лицу, когда она вдруг поняла, что выдала себя этими словами. Она с отчаянием всплеснула руками. – Я не писала никакого письма, – проговорила она в испуге. – Я ничего не знаю ни о каком письме!

– Нет, – возразил я, – это вы его написали и знаете это. Вы дурно поступили, отправив мисс Фэрли такое письмо. Зачем было пугать ее? Если вы хотели сказать ей что-нибудь важное, вам следовало бы пойти в Лиммеридж-Хаус и самой говорить с молодой леди.

Несчастливая опустила на могильный камень, так что мне было совсем не видно ее лица, и не отвечала.

– Мисс Фэрли будет к вам так же добра и ласкова, как была ее матушка, если у вас хорошие намерения, – продолжал я. – Она сохранит вашу тайну и не позволит причинить вам никакого вреда. Хотите повидаться с ней завтра на ферме или в саду Лиммеридж-Хауса?

– О, если бы я могла умереть и упокоиться рядом с *вами*! – прошептала Анна Кэтерик, склонившись совсем близко над могильной плитой и обратив, по всей вероятности, свою горячую мольбу к покоящимся под камнем останкам. – *Вы* знаете, как я люблю вашу дочь из-за любви к вам! О миссис Фэрли! Миссис Фэрли, научите, как спасти ее! Будьте, как и прежде, моей нежной матерью и скажите, как мне следует поступить.

Я видел, как она снова поцеловала камень, как горячо ее руки гладили его холодную поверхность. Это зрелище глубоко тронуло меня. Я наклонился, нежно взял руки бедняжки в свои и попытался успокоить ее.

Все было бесполезно. Она вырвала руки и не поднимала головы от могильной плиты. Испытывая насущную необходимость успокоить ее во что бы то ни стало, я решился воззвать к тому единственному чувству, которое, по всей вероятности, сильнее всего беспокоило ее относительно нашего знакомства: к ее страстному желанию убедить меня, что она сама себе хозяйка и отвечает за собственные поступки.

– Ну полно, полно, – сказал я мягко. – Постарайтесь взять себя в руки, иначе мне придется переменить мнение о вас. Не заставляйте меня думать, что человек, поместивший вас в лечебницу, имел на то...

Следующие слова замерли на моих губах. Стоило мне только упомянуть того, кто поместил ее в сумасшедший дом, как Анна вскочила на ноги. Необыкновенная, изумительная перемена произошла в ней. Ее лицо, до сих пор исполненное трогательной нервной чувствительности, неуверенности и кротости, вдруг омрачилось выражением бешеной ненависти и страха, придавшим ее чертам дикую, неестественную силу. В вечернем сумеречном свете ее глаза расширились, как глаза дикого зверя. Она схватила мокрую тряпку, выпавшую до этого у нее из рук, как будто это было живое существо, которое она могла бы убить, и судорожно сжала ее с такой силой, что несколько капель упало на могильную плиту.

– Говорите о чем-нибудь другом, – прошептала она сквозь зубы. – Если вы не перестанете, я могу выйти из себя.

От кротких мыслей, еще несколько минут назад наполнявших ее голову, не осталось и следа. Стало совершенно очевидно, что впечатление, оставленное в ее душе добротой миссис Фэрли, было не единственным, как я раньше предполагал, сильным впечатлением в ее прошлом. Вместе с благодарным воспоминанием о школьных днях в Лиммеридже она сохраняла в душе мстительное воспоминание об обиде, нанесенной ей заключением в сумасшедший дом. Но кто нанес ей эту обиду? Неужели это на самом деле сделала ее мать?

Тяжело было отказаться от дальнейших расспросов, тем более так близко подобравшись к разгадке, и все же я заставил себя оставить всякую мысль о них. Видя бедную женщину в таком состоянии, с моей стороны было бы жестоко думать о чем-нибудь другом, кроме необходимости восстановить ее спокойствие.

– Больше я не скажу ничего, что может расстроить вас, – сказал я мягко.

– Вам что-то нужно от меня, – сказала она резко и подозрительно. – Не смотрите на меня так. Ну же, говорите, чего вы хотите.

– Только чтобы вы успокоились, а когда возьмете себя в руки, подумали о том, что я сказал.

– «Сказал»? – Она помолчала, повертела в руках тряпку и прошептала: «Что он сказал?» Потом повернулась ко мне и нетерпеливо кивнула. – Почему вы не хотите помочь мне? – спросила она вдруг с гневом в голосе.

– Да, да, я вам помогу, – сказал я, – и вы сразу все вспомните. Я просил вас встретиться с мисс Фэрли завтра и рассказать ей всю правду насчет письма.

– А-а-а, мисс Фэрли... мисс Фэрли... мисс Фэрли...

Простое повторение любимого знакомого имени, казалось, успокоило ее. Лицо ее смягчилось и стало похоже на прежнее.

– Вам не надо бояться мисс Фэрли, – продолжал я. – Письмо не принесет вам беды. Из него она знает уже достаточно много, так что вам не составит труда рассказать ей все остальное. Нет смысла скрывать что-либо там, где скрывать уже почти нечего. В письме вы не называете имен, однако мисс Фэрли поняла, что речь в нем идет о сэре Персивале Глайде...

Не успел я произнести это имя, как она вскочила на ноги и из ее груди вырвался крик, огласивший все кладбище и заставивший затрепетать мое сердце от ужаса. Мрачная тень, только что сбежавшая с ее лица, вновь затмила его, но уже с удвоенной силой. Пронзительный крик и вновь появившееся на ее лице выражение страха и гнева объяснили мне все. Не осталось никаких сомнений. Не мать поместила несчастную в сумасшедший дом. Это сделал человек, чье имя было сэром Персивалем Глайдом.

Крик донесся не только до меня. Со стороны каменоломни я услышал, как отворилась дверь в доме причетника, а затем с противоположной стороны я различил голос подруги Анны, женщины в шали, женщины, которую Анна называла миссис Клеменс.

– Иду! Иду! – кричала она из-за деревьев.

Через мгновение показалась миссис Клеменс, спешащая к нам.

– Кто вы такой? – вскричала она, входя на кладбище. – Как смеете вы пугать бедную, беззащитную женщину?

Прежде чем я успел ответить, она уже была подле Анны и обнимала ее.

– Что случилось, моя милая? – спросила она. – Что он вам сделал?

– Ничего, – ответила бедняжка. – Ничего, просто я испугалась.

Миссис Клеменс повернулась ко мне с бесстрашным негодованием, за которое я не мог не уважать ее.

– Мне было бы стыдно, если бы я заслужил ваш гневный упрек, – сказал я. – Но я его не заслуживаю. К несчастью, я испугал эту бедняжку, не желая того. Она видит меня не в первый

раз. Спросите ее, и она вам скажет, что я не способен причинить зло ни ей, ни кому бы то ни было другому.

Я говорил очень отчетливо, чтобы Анна Кэтерик могла расслышать мои слова, и я видел, что их смысл дошел до нее.

– Да, да, – сказала она, – он был добр ко мне однажды, он помог мне... – Она прошептала остальное на ухо своей подруге.

– И в самом деле, очень странно! – В голосе миссис Клеменс прозвучало удивление. – Это все меняет. Простите, что я говорила с вами так грубо, сэр, но согласитесь, что со стороны ваше пребывание здесь выглядело более чем подозрительно. Я сама виновата, даже больше вашего: потакаю ее прихотям, позволила бедняжке остаться одной в таком месте. Пойдемте, душенька, пойдемте домой...

Мне показалось, что добрую женщину несколько беспокоила перспектива возвращаться домой в столь поздний час одним, и я предложил проводить их до дому. Миссис Клеменс вежливо поблагодарила меня, но отказалась. Она сказала, что по пути они наверняка повстречают работников с фермы.

– Постарайтесь простить меня, – проговорил я, когда Анна Кэтерик взяла свою подругу за руку, чтобы уйти. У меня и в мыслях не было намерения напугать и растревожить ее, но сердце мое заныло, когда я взглянул на это несчастное, бледное, испуганное лицо.

– Я постараюсь, – ответила она. – Но вы слишком много знаете, думаю, что теперь я всегда буду бояться вас.

Миссис Клеменс бросила на меня взгляд и сочувственно покачала головой.

– Доброй ночи, сэр, – сказала она. – Вы ни в чем не виноваты, я знаю, но лучше бы вы напугали меня, а не ее.

Они сделали несколько шагов. Я уже было решил, что они совсем уходят, когда Анна вдруг остановилась и сказала своей подруге:

– Подождите немножко. Я должна попрощаться.

Она вернулась к могиле, нежно обняла мраморный крест и поцеловала его.

– Мне уже лучше, – вздохнула она, спокойно глядя на меня. – Я прощаю вас.

Она снова присоединилась к своей спутнице, и они покинули кладбище. Я видел, как они остановились у церкви и недолго поговорили с женой причетника, которая вышла из дому, заслышав крик Анны, и поджидала, глядя на нас издали. Затем они двинулись дальше по дорожке, которая вела через пустошь. Я смотрел вслед Анне Кэтерик, пока она не исчезла в ночной темноте, смотрел так тревожно и печально, как будто в последний раз видел в этом унылом мире женщину в белом.

## XIV

Через полчаса я вернулся домой и уведомил мисс Холкомб обо всем, что случилось.

Она слушала меня от начала до конца с тем неизменным, молчаливым вниманием, которое в женщине ее темперамента служит вернейшим доказательством, насколько поразил ее мой рассказ.

– Я не знаю, что и думать, – вот все, что она сказала, когда я закончил. – Будущее не предвещает мне ничего хорошего.

– Будущее, – заметил я, – может зависеть от того, какую пользу мы извлечем из настоящего. Весьма вероятно, что Анна Кэтерик будет откровеннее с женщиной, чем была со мной. Если бы мисс Фэрли...

– Об этом сейчас нечего и думать! – перебила меня мисс Холкомб самым решительным тоном.

– В таком случае, – продолжил я, – позвольте мне посоветовать вам самой увидеться с Анной Кэтерик и постараться завоевать ее доверие. Что касается меня самого, то мне неприятна одна мысль, что я могу снова напугать бедную женщину, как, к несчастью, сделал это уже сегодня. Вы не возражаете, если я провожу вас завтра до фермы?

– Конечно нет. Ради Лоры я отправлюсь куда угодно и сделаю все, что будет необходимо. Как, вы сказали, называется эта ферма?

– Вы, должно быть, хорошо ее знаете. Она называется «Уголок Тодда».

– Ах да, конечно. Это одна из ферм мистера Фэрли. Наша молочница – вторая дочь Тодда. Она часто бывает у отца и, может статься, слышала или видела что-нибудь такое, о чем нам не помешает знать. Я сейчас спрошу, здесь ли эта девушка.

Она позвонила и послала слугу узнать. Вернувшись, он доложил, что молочница ушла на ферму. Она не была дома три дня, и экономка отпустила ее на часок-другой.

– Я поговорю с ней завтра, – сказала мисс Холкомб, когда слуга вышел. – Вы же тем временем объясните мне хорошенько, какова цель моего разговора с Анной Кэтерик. Неужели не осталось никаких сомнений, что в сумасшедший дом эту несчастную поместил сэр Персиваль Глайд?

– Не осталось и тени сомнения. Но вот что еще предстоит узнать, так это причину, которая им двигала. Принимая во внимание разницу в их общественном положении, которая, как кажется, исключает любую возможность родства между ними, чрезвычайно важно узнать – даже допустив, что несчастную действительно следовало бы поместить в сумасшедший дом, – почему все же он взял на себя такую серьезную ответственность, отправив ее...

– Вы, кажется, сказали, что это была частная лечебница?

– Да, отправив ее в частную лечебницу, где за то, чтобы содержать ее в качестве пациентки, наверное, была выплачена такая сумма, которую не может себе позволить бедный человек.

– Я понимаю ваши опасения, мистер Харттрайт, и даю вам слово, что постараюсь разрешить их, вне зависимости от того, поможет нам в этом Анна Кэтерик или нет. Сэр Персиваль Глайд не пробудет в нашем доме долго, если не предоставит мне и мистеру Гилмору исчерпывающие объяснения. Будущее моей сестры составляет главную заботу моей жизни, и я имею на нее достаточно влияния, чтобы посоветовать разорвать помолвку.

Мы расстались, договорившись отправиться на ферму на следующее же утро, сразу после завтрака, однако препятствие, воспоминания о котором совершенно изгладились из моей памяти из-за вечерних происшествий, помешало нам выйти немедленно.

Это был мой последний день в Лиммеридже, и было необходимо сразу же по приходу почты воспользоваться советом мисс Холкомб и испросить у мистера Фэрли позволения сократить срок моего пребывания на месяц относительно договора ввиду непредвиденных обстоятельств, вынуждающих меня немедленно вернуться в Лондон.

По счастью, словно для того, чтобы видимость была соблюдена, придуманный мной предлог подкрепили пришедшие в то утро на мое имя два письма из Лондона. Я взял их в свою комнату и послал слугу к мистеру Фэрли узнать, могу ли я видеть его по делу.

Я ожидал возвращения слуги, не испытывая ни малейшего беспокойства о том, как хозяин примет мою просьбу. С разрешения мистера Фэрли или без него я должен ехать. Мысль о том, что я уже сделал первый шаг на печальном пути, который отныне и навсегда разлучит нас с мисс Фэрли, казалось, притупила мою чувствительность ко всему другому. Не осталось во мне ни щекотливой гордости бедняка, ни мелкого тщеславия художника. Никакая дерзость мистера Фэрли – если бы ему вздумалось быть дерзким – не могла бы меня теперь ранить.

Слуга вернулся с ответом, к которому я был готов. Мистер Фэрли сожалел, что состояние его здоровья, особенно в это утро, таково, что лишало его всякой надежды иметь удовольствие

принять меня. Поэтому он просил извинить его и любезно сообщить, чего я хочу, в письменной форме. Подобные послания я уже не раз получал от него в течение моего трехмесячного пребывания в Лиммеридже. Все это время мистер Фэрли сообщал, как счастлив, что я нахожусь в его доме, но не чувствовал себя достаточно хорошо, чтобы принять меня вторично. Слуга брал готовые рисунки, реставрированные и окантованные мной, относил их своему хозяину с «засвидетельствованием моего почтения» и возвращался назад с пустыми руками, передавая от мистера Фэрли «поклоны», «тысячи благодарностей» и «искренние сожаления» о том, что состояние здоровья все еще вынуждает его оставаться одиноким пленником в своей комнате. Трудно сказать, кто из нас двоих при сложившихся обстоятельствах чувствовал большую благодарность к больным нервам мистера Фэрли.

Я немедленно принялся за письмо, излагая свое дело настолько почтительно, ясно и кратко, насколько это было возможно. Мистер Фэрли не спешил с ответом. Прошел почти час, прежде чем записка от него оказалась у меня в руках. Ответ был написан красивым, правильным почерком, лиловыми чернилами, на бумаге гладкой, подобно слоновой кости, и почти такой же толстой, как картон, и содержал в себе следующее:

*Мистер Фэрли кланяется мистеру Хартрайту. Мистер Фэрли удивлен и разочарован – плохое самочувствие не позволяет высказать, до какой степени, – просьбой мистера Хартрайта. Мистер Фэрли не деловой человек, но он посоветовался со своим дворецким, который таковым является, и тот подтвердил мнение мистера Фэрли, что просьба мистера Хартрайта разорвать договор не может быть оправдана никакой необходимостью, единственно если бы речь шла о жизни и смерти. Если высокое чувство преклонения перед Искусством и его жрецами, составляющее утешение и счастье безотрадного существования мистера Фэрли, и могло бы быть поколеблено, то это случилось бы теперь, и причиной тому стал бы поступок мистера Хартрайта. Этого, однако, не произошло, разве что со стороны мистера Фэрли переменилось отношение к самому мистеру Хартрайту.*

*Высказав свое мнение – насколько позволяет ему сильнейшее страдание, вызванное больными нервами, – мистер Фэрли более не имеет ничего добавить, кроме как собственно сформулировать решение относительно в высшей степени неправомерной просьбы, поступившей к нему. Совершенное спокойствие духа и тела чрезвычайно важны для мистера Фэрли, и он не допустит, чтобы мистер Хартрайт нарушил сей покой, оставаясь и дальше в его доме при обстоятельствах крайне раздражающего свойства для обеих сторон. Сообразно с этим мистер Фэрли отказывается от права настаивать на соблюдении договора, единственно с целью оградить собственный покой, и уведомляет мистера Хартрайта, что он может покинуть Лиммеридж-Хаус.*

Я сложил письмо и убрал его вместе с другими моими бумагами. Было время, когда я считал бы его оскорбительным, теперь же я смотрел на него как на освобождение от моих обязательств. Когда я спускался в столовую сообщить мисс Холкомб, что готов идти с ней на ферму, я уже не думал о письме, оно словно ускользнуло из моей памяти.

– Мистер Фэрли удовлетворил вашу просьбу? – спросила мисс Холкомб, когда мы вышли из дому.

– Он разрешил мне уехать, мисс Холкомб.

Она быстро взглянула на меня и впервые за время нашего знакомства по собственному почину взяла меня под руку. Никакие слова не могли выразить с большей деликатностью, что она понимает, в каких выражениях мне было дано разрешение оставить мое место, и что она сочувствует мне не как человек, стоящий выше меня, но как друг. Меня не задел оскорбительный тон мужского письма, но глубоко тронула искупающая его женская доброта.

По пути к ферме мы условились, что мисс Холкомб войдет в дом одна, а я буду ждать неподалеку. Это решение мы приняли из опасения, что мое присутствие после того, что произошло накануне вечером на кладбище, вновь напугает Анну Кэтерик и только усугубит недоверие к незнакомой ей женщине. Мисс Холкомб оставила меня, для начала намереваясь поговорить с женой фермера (в чьей дружеской готовности оказать нам помощь она не сомневалась), я же поджидал ее у дома.

Я полагал, что пробуду в одиночестве довольно долго. Но, к моему удивлению, не прошло и пяти минут, как мисс Холкомб вернулась.

– Анна Кэтерик отказалась поговорить с вами? – спросил я удивленно.

– Анна Кэтерик уехала, – ответила мисс Холкомб.

– Уехала?!

– Уехала с миссис Клеменс. Они обе покинули ферму в восемь часов утра.

Я не мог вымолвить ни слова... Я чувствовал, что наш последний шанс узнать истину исчез вместе с ними.

– Сейчас мне известно все, что знала о своих гостях миссис Тодд, – продолжила мисс Холкомб, – но это мало что объясняет. Вчера, расставшись с вами, они благополучно добрались до дома и часть вечера провели, как обычно, с домочадцами мистера Тодда. Однако перед ужином Анна Кэтерик напугала всех, неожиданно потеряв сознание. Похожий обморок, но немного слабее с ней случился в день, когда она только приехала на ферму, и миссис Тодд приписала его тогда тому, что Анну потрясла какая-то новость, вычитанная ею из лежавшей на столе местной газеты, которую Анна принялась читать за минуту или две до обморока.

– А миссис Тодд знает, какая заметка в газете так потрясла Анну Кэтерик?

– Нет, – ответила мисс Холкомб. – Она просмотрела газету и не нашла ничего стоящего внимания. Я, однако, попросила позволения взглянуть на газету и на первой же полосе увидела, что редактор за недостатком новостей разместил среди прочих заметку о предстоящем браке моей сестры, перепечатав ее из раздела «Великосветская хроника» одной лондонской газеты. Мне сразу же стало понятно, что именно эта заметка так взволновала Анну Кэтерик и побудила ее на следующее утро написать анонимное письмо и передать его Лоре.

– В этом не может быть сомнения. Но что стало причиной ее второго обморока?

– Неизвестно. Причина совершенно непонятна. В комнате не было чужих. Единственной гостьей была наша молочница, дочь мистера Тодда, как я вам уже говорила; разговор шел о самых обычных вещах – местных сплетнях и новостях. Все слышали и видели, как Анна вдруг вскрикнула и смертельно побледнела без всякой причины. Ее отвели наверх, и миссис Клеменс осталась с ней. Судя по доносившимся голосам, они еще долго что-то обсуждали, после того как все отправились спать, а сегодня рано утром миссис Клеменс отозвала миссис Тодд в стору и чрезвычайно удивила ее, объявив, что они должны уехать. Единственное объяснение, которого миссис Тодд смогла добиться от своей гостьи, состояло в следующем: произошло нечто такое, в чем не повинен никто из обитателей фермы, однако происшедшее настолько серьезно, что вынуждает Анну Кэтерик немедленно покинуть Лиммеридж. Добиться от миссис Клеменс более вразумительных объяснений не представлялось возможным. Она лишь качала головой и приговаривала, что ради блага Анны всеми святыми молит не расспрашивать бедняжку ни о чем. По-видимому серьезно взволнованная, она снова и снова повторяла, что Анне необходимо уехать, что она должна ехать вместе с ней и что для всех должно остаться тайной, куда они собираются. Избавлю вас от подробностей увещаний и попыток, предпринятых миссис Тодд, уговорить своих гостей остаться. Кончилось все тем, что она отвезла обеих женщин на ближайшую станцию спустя более чем три часа. По пути миссис Тодд продолжала настаивать, чтобы ей объяснили, в чем дело, но тщетно; она высадила женщин у дверей станции, до такой степени оскорбленная их бесцеремонным отъездом и нежеланием довериться ее дружескому участию, что в сердцах уехала, даже не попрощавшись с ними. Вот, собственно,

и все. Попробуйте припомнить, мистер Харттрайт, не случилось ли вчера на кладбище чего-нибудь такого, что могло бы объяснить нам странный отъезд этих женщин?

– Для начала, мисс Холкомб, я хотел бы понять причину внезапного обморока Анны Кэтерик, так взволновавшего обитателей фермы, ведь с того момента, как мы расстались на кладбище, прошло несколько часов и было достаточно времени, чтобы сильное волнение, которое я имел несчастье причинить ей, утихло. Расспросили ли вы, что именно за новости обсуждались в комнате в тот момент, когда она потеряла сознание?

– Да. Но миссис Тодд, хлопотавшая по хозяйству, почти не слышала этого разговора. Она могла только сказать мне, что обсуждались «обычные новости», – думаю, это значит, что они, по своему обыкновению, толковали о делах друг друга.

– Может быть, у вашей молочницы память лучше, чем у ее матери? – сказал я. – Хорошо бы поговорить с этой девушкой, мисс Холкомб, сразу по нашему возвращении.

Мое предложение было принято, и, когда мы вернулись в поместье, мисс Холкомб первым делом повела меня в помещения для прислуги, где в молочной мы застали молодую девушку, которая, засучив рукава, мыла большой бидон и пела за работой.

– Я привела этого джентльмена посмотреть вашу молочную, Ханна, – сказала мисс Холкомб. – Это одна из достопримечательностей нашего дома, что, несомненно, делает тебе честь.

Девушка покраснела, поклонилась и застенчиво ответила, что она старается всегда держать все в чистоте и порядке.

– Мы только что вернулись с фермы твоего отца, – продолжила мисс Холкомб. – Я слышала, что вчера вечером ты была дома и застала там гостей.

– Да, мисс.

– Мне говорили, что одной из гостей сделалось дурно и что она потеряла сознание. Не напугали ли ее чем-нибудь? Уж не разговаривали ли вы о чем-нибудь страшном?

– О нет, мисс! – засмеялась девушка. – Мы просто обменивались всякими новостями.

– Вероятно, твои сестры рассказывали тебе о ферме?

– Да, мисс.

– А ты рассказывала им о Лиммердж-Хаусе?

– Да, мисс. Я совершенно уверена, что ничего такого, что могло бы напугать бедняжку, сказано не было, ведь ей стало нехорошо, именно когда я говорила. Я сама испугалась, мисс, глядя на нее; я никогда прежде не видела, как падают в обморок.

Прежде чем мы смогли задать девушке следующие вопросы, ее позвали забрать корзинку с яйцами. Когда она отошла к дверям, я шепнул мисс Холкомб:

– Спросите, не упоминала ли она, что в Лиммеридж-Хаусе ждут гостей.

Мисс Холкомб взглядом дала мне знать, что все поняла, и задала вопрос, как только девушка вернулась.

– О да, мисс, я об этом говорила, – чистосердечно ответила девушка. – О том, что ожидаются гости, да о том, что пестрая корова заболела, – вот все новости, которые я принесла с собой на ферму.

– Ты называла имена? Сказала, что в понедельник ожидают приезда сэра Персиваля Глайда?

– Да, мисс, я сказала, что приедет сэр Персиваль Глайд. Надеюсь, я не сделала ничего дурного?

– О нет, ничего дурного. Идемте, мистер Харттрайт, не будем мешать Ханне, отвлекая ее от работы своими расспросами.

Выйдя из молочной, мы остановились и посмотрели друг на друга.

– Вы и теперь сомневаетесь, мисс Холкомб?

– Сэру Персивалю придется развеять мои сомнения, мистер Харттрайт, в противном случае Лора никогда не станет его женой.

## XV

Подойдя к Лиммеридж-Хаусу, мы увидели подъезжавшую к дому по аллее пролетку. Мисс Холкомб дождалась на ступенях парадной лестницы, пока пролетка не остановилась, а потом шагнула вперед пожать руку пожилому джентльмену, проворно вышедшему из пролетки, как только опустили подножку. Это был мистер Гилмор.

Когда нас представили друг другу, я, с трудом скрывая любопытство, стал изучать его. Этому человеку предстояло остаться в Лиммеридже после моего отъезда, выслушать объяснения сэра Персиваля Глайда и, благодаря опытности в подобных делах, помочь мисс Холкомб составить верное мнение об услышанном; он должен был оставаться в поместье, пока не устроится вопрос со свадьбой, и собственноручно, в случае положительного решения, составить брачный контракт, который на веки вечные свяжет мисс Фэрли с сэром Персивалем Глайдом. Даже в ту пору, когда я еще не знал того, что знаю теперь, я смотрел на семейного нотариуса с интересом, которого никогда прежде не чувствовал в присутствии совершенно незнакомых мне людей.

Внешне мистер Гилмор являл собой прямую противоположность нашему обычному представлению о постаревшем юристе. У него был цветущий вид, седые, довольно длинные, аккуратно причесанные волосы; черные сюртук, жилет и брюки прекрасно сидели на нем; белый шейный платок был тщательно повязан, а его бледно-лиловые перчатки смело могли бы украшать руки какого-нибудь модного пастора, без страха и упрека. Его манеры отличались церемонной любезностью и изысканностью старой школы, дополняемые резкостью и находчивостью человека, который по своей профессии вынужден всегда быть во всеоружии. Живой темперамент и прекрасные виды на будущее в молодости, последовавшие за этим продолжительная карьера, безоблачная и достойная всяческого уважения, и приятная, деятельная, почтенная старость – вот с какой точки зрения я смотрел на мистера Гилмора, когда меня представили ему, справедливости ради стоит добавить, что в последствии я лишь утвердился в этом мнении.

Не желая мешать своим присутствием мистеру Гилмору и мисс Холкомб, я предоставил им войти в дом вдвоем, чтобы они могли обсудить семейные дела наедине. Они прошли в гостиную, а я снова спустился по ступеням парадной лестницы, намереваясь побродить по саду.

Мне оставались считанные часы в Лиммеридже; решение о моем отъезде следующим утром принято окончательно и бесповоротно; мое участие в расследовании, вызванном анонимным письмом, подошло к концу. Я не причинил бы вреда никому, кроме себя самого, если бы вновь, пусть даже на короткое время, позволил сердцу освободиться от того холодного, жестокого запрета, который необходимость вынудила меня наложить на него, решив попроситься с местами, ставшими свидетелями моих скоротечных мечтаний о счастье и любви.

Я бессознательно свернул на аллею, что проходила под окнами моей мастерской, на этой аллее еще вчера я видел ее, прогуливавшуюся со своей собачкой, и пошел по дорожке, по которой так часто ступала ее милая ножка, до калитки, ведущей в ее розовый садик. Осень завладела и им. Цветы, которые она учила меня различать по названиям, цветы, которые я учил ее рисовать, увяли и осыпались, а узенькие белые дорожки между клумбами раскисли под дождем. Я прошел по аллее, где мы вместе вдыхали теплое благоухание августовских вечеров, где вместе любовались мириадами комбинаций света и тени, испещрявших землю у наших ног. Листья сыпались на меня с шумевших ветвей, а запах осенней гнили пробирал до костей. Пройдя еще немного, я вышел из парка по тропинке, поднимавшейся к ближайшим холмам. Старое упавшее дерево, чуть в стороне от тропинки, на котором мы часто отдыхали, пропиталось влагой от дождя, а кусты папоротника, приютившиеся у большого камня, которые я иногда



рисовал для нее, теперь, казалось, росли прямо из воды, скопившейся под этими островками. Я дошел до вершины холма и стал смотреть на открывшийся передо мною вид, которым мы так часто любовались в те счастливые дни. Сегодня здесь было неуютно и пустынно, совсем не так, как прежде. Солнечные лучи ее присутствия больше не грели меня, очарование ее голоса не улаждало мой слух. На том месте, с которого я теперь смотрел вниз, она, бывало, рассказывала мне о своем отце, о том, как они любили друг друга, как она до сих пор скучает по нему, особенно когда входит в некоторые комнаты в доме или принимается за какие-то давно позабытые занятия, напоминавшие о нем. Но тот ли это был вид, которым я некогда любовался, заслушиваясь ее рассказами? Я спустился с холма и двинулся через пустошь к берегу моря. Прибой яростно шумел, волны, пенясь, с силой накатывали на берег, но где было то место, где она однажды рисовала на песке какие-то фигуры кончиком своего зонтика от солнца, место, где мы сидели друг подле друга, пока она расспрашивала меня обо мне самом и моей семье, задавая подробнейшие, столь свойственный женской натуре вопросы о моей матушке и сестре и с детской непосредственностью интересуясь, покину ли я когда-либо свое одинокое жилище ради того, чтобы жениться и обзавестись собственным домом? Ветер и волны давно стерли следы, оставленные ею на песке в тот день. Я смотрел на бесконечную монотонность побережья, и место, где мы некогда провели несколько счастливых солнечных часов, исчезло для меня, словно его и не было вовсе, оно казалось мне совершенно незнакомым, словно меня выбросило на какой-то чуждадьный берег.

Унылое безмолвие морского пейзажа обдало холодом мое сердце. Я снова вернулся в парк, где все говорило о ней.

На аллее, ведущей к западной террасе, я встретил мистера Гилмора. По-видимому, он искал меня, потому что ускорил шаги, когда я попал в поле его зрения. Душевный настрой не располагал меня к общению с незнакомым человеком, но встреча была неизбежна, и я покорился необходимости.

– Вас-то мне и надо! – воскликнул пожилой джентльмен. – Я должен сказать вам несколько слов, мой дорогой сэр, и, если вы не возражаете, я воспользуюсь представившимся случаем. Не стану скрывать, мисс Холкомб и я обсуждали семейные дела, из-за которых я, собственно, и приехал, и в ходе нашего разговора она, естественно, вынуждена была упомянуть неприятные обстоятельства, связанные с получением анонимного письма, а также об участии, делающем вам честь, которое вы приняли в этом деле. Вам, конечно же, вряд ли может быть иначе, хотелось бы быть уверенным, что начатое вами расследование попадет в надежные руки и будет продолжено. Мой дорогой сэр, будьте покойны на сей счет – оно попадет в мои руки.

– Мистер Гилмор, безусловно, вы гораздо лучше меня можете посоветовать, что предпринять дальше. Не покажется ли вам слишком нескромным, если я спрошу, решили ли вы уже, каким будет ваш следующий шаг?

– Насколько это было возможно, мистер Хартрайт, я составил себе план действий. Я намерен послать копию анонимного письма, сопроводив его необходимыми разъяснениями сопутствующих обстоятельств, поверенному сэра Персиваля Глайда в Лондоне, я с ним немного знаком. Само же письмо я оставлю здесь, чтобы показать сэру Персивалю, как только он приедет. Я также предпринял меры к тому, чтобы отыскать обеих женщин, и послал одного из слуг мистера Фэрли – верного человека – на станцию разузнать о них все, что возможно. Он получил от меня деньги и необходимые наставления; он последует за женщинами, если обнаружит хоть какое-нибудь свидетельство, куда они направились. Вот все, что мы можем предпринять до приезда сэра Персиваля в понедельник. Лично я не сомневаюсь, что все объяснения, которые можно ожидать от джентльмена и честного человека, он предоставит нам с готовностью. Сэр Персиваль занимает очень высокое положение – высокое положение, безупречная репутация, – я совершенно спокоен насчет результатов, совершенно спокоен, смею вас уверить. Подобные случаи то и дело встречаются в моей практике: анонимные письма,

несчастные женщины – прискорбные и довольно частые явления в наше время. Не отрицаю, настоящее дело отличается какой-то особенной запутанностью, но сам по себе этот случай, как ни печально, банален, довольно банален.

– Боюсь, мистер Гилмор, я не разделяю ваших взглядов на это дело.

– Это весьма естественно, сэр, весьма естественно! Я старик и смотрю на все с практической точки зрения. Вы же молоды, и у вас романтический взгляд на жизнь. Давайте же не будем спорить об этом. По роду деятельности я постоянно живу в атмосфере споров, мистер Хартрайт, и всегда рад, когда могу избежать их. Подождем... да-да!.. подождем, как станут развиваться события... Очаровательное место! Хороша ли здесь охота? Вероятно, нет... Кажется, ни в одном из поместий мистера Фэрли нет зверинца. И все же очаровательное место и такие милые люди! Вы рисуете, как я слышал, мистер Хартрайт? Завидный талант! В каком стиле?

Мы начали разговор на общие темы, вернее, мистер Гилмор говорил, а я слушал. Однако мысли мои блуждали далеко от него и от тех предметов, о которых он так бегло рассуждал. Моя одинокая прогулка в течение последних двух часов возымела свое действие – во мне укрепилось желание поспешить с отъездом из Лиммериджа. К чему продолжать эту пытку прощания? В моих услугах здесь больше никто не нуждался. Мое дальнейшее пребывание в Камберленде не имело смысла, хозяин предоставил мне самому выбрать время, когда я покину поместье. Почему бы не покончить со всем этим здесь и сейчас?

Я принял решение. До темноты оставалось еще несколько часов – не было ни одной причины откладывать мое возвращение в Лондон. Воспользовавшись первой удобной возможностью, я извинился перед мистером Гилмором и немедленно вернулся в дом.

На лестнице, по пути в свою комнату, я встретил мисс Холкомб. По моей поспешности и происшедшей во мне перемене настроения она поняла, что я что-то задумал, и спросила, что случилось.

Я изложил ей причины, побуждавшие меня ускорить свой отъезд, в точности как я поведал об этом здесь.

– Нет, нет, – произнесла она серьезно и ласково, – расстаньтесь с нами как друг, откушайте с нами еще раз. Оставайтесь и отужинайте с нами, оставайтесь и помогите провести наш последний вечер в вашем обществе так счастливо, так похоже на наши первые вечера с вами, насколько это возможно. Это мое приглашение, приглашение миссис Вэзи... – Она заколебалась и спустя мгновение и добавила: – А также приглашение Лоры.

Я обещал не уезжать. Видит Бог, я не желал оставить даже тени печальных воспоминаний о себе в ком-нибудь из них.

Собственная комната стала для меня лучшим пристанищем вплоть до звонка к ужину. Я просидел в ней, пока не настало время спуститься.

В течение всего этого дня я не говорил с мисс Фэрли, я даже не видел ее. Первая встреча с ней, когда я вошел в столовую, стала тяжелым испытанием как для ее самообладания, так и для моего. Она тоже изо всех сил старалась, чтобы наш последний вечер напоминал о минувшем золотом времени – времени, которому не суждено больше повториться. Она надела платье, которое некогда нравилось мне больше всех других ее платьев, – из синего шелка, прелестно украшенное старинными кружевами; она подошла ко мне с прежней приветливостью и подала руку с чистосердечием и невинным дружелюбием более счастливых дней. Ее холодные пальцы, дрожавшие в моей руке, бледные щеки с алевшим на них нездоровым румянцем, слабая улыбка, пытавшаяся задержаться на ее губах, но исчезнувшая, едва я взглянул на нее, ясно говорили, каких усилий мисс Фэрли стоило сохранять видимое спокойствие. Сердце мое не могло плениться ею более, оно было переполнено ею, иначе я полюбил бы ее в тот миг еще сильнее, чем прежде.

Мистер Гилмор стал для нас настоящей палочкой-выручалочкой. Он пребывал в прекрасном настроении и занимал нас разговорами с неослабевающим воодушевлением. Мисс

Холкомб мужественно вторила ему, и я тоже делал все возможное, чтобы следовать ее примеру. Нежные голубые глаза, малейшую перемену в выражении которых я научился так хорошо понимать, умоляюще посмотрели на меня, когда мы сели за стол. «Помогите моей сестре, – казалось, говорил этот взволнованный взгляд, – помогите моей сестре, и вы поможете мне».

Внешне за обедом мы все выглядели вполне довольными. Когда дамы встали из-за стола, а мы с мистером Гилмором остались в столовой одни, наше внимание заняло новое событие, предоставив мне возможность успокоиться, воспользовавшись несколькими столь необходимыми мне минутами молчания. Слуга, отправленный отыскать следы Анны Кэтерик и миссис Клеменс, вернулся и был немедленно препровожден в столовую для отчета.

– Ну, – поинтересовался мистер Гилмор, – что вы узнали?

– Я выяснил, сэр, – ответил слуга, – что обе женщины взяли билеты на здешней станции до Карлайла.

– Вы, разумеется, отправились в Карлайл, узнав об этом?

– Да, сэр, но с сожалением должен сообщить, что более мне ничего обнаружить не удалось.

– Вы спрашивали о них в Карлайле, на станции?

– Да, сэр.

– И на постоянных дворах?

– Да, сэр.

– И вы оставили написанное мной заявление в полицейском участке?

– Оставил, сэр.

– Ну что ж, друг мой, вы сделали все, что могли, и я сделал все, что мог; на этом пока и остановимся. Мы использовали все средства, мистер Харттрайт, – продолжил старый джентльмен, когда слуга удалился. – На сегодня эти женщины перехитрили нас, и теперь нам остается только ждать приезда сэра Персиваля Глайда. Наполните-ка ваш бокал. Славный портвейн! Хорошее, крепкое, старое вино. Хотя в моем погребе есть и получше.

Мы вернулись в гостиную, комнату, где проходили счастливейшие вечера в моей жизни и которую сегодня я видел в последний раз. Гостиная выглядела по-другому, с тех пор как похолодало и дни стали короче. Стеклянная дверь на террасу была закрыта и завешена плотными портьерами. Вместо мягкого света сумерек, при котором мы обычно проводили здесь время, яркий свет ламп слепил мои глаза. Все изменилось... и внутри, и снаружи все изменилось.

Мисс Холкомб и мистер Гилмор сели за карточный стол, миссис Вэзи – в свое любимое кресло. В их поведении не было никакой принужденности, отчего я лишь сильнее ощутил свою скованность. Я заметил, что мисс Фэрли медлила возле пюпитра. В прежнее время я бы немедленно занял место подле нее. Теперь же я стоял в нерешительности: я не знал, куда мне идти и чем себя занять. Мисс Фэрли бросила на меня быстрый взгляд, взяла ноты с пюпитра и решительно подошла ко мне.

– Не сыграть ли мне какую-нибудь из тех мелодий Моцарта, которые вам так нравились? – спросила она взволнованно, раскрыв ноты и не отрывая от них глаз, пока говорила.

Прежде чем я успел поблагодарить ее, она торопливо вернулась к фортепиано. Стул подле нее, на котором я, бывало, располагался, сейчас пустовал. Она взяла несколько аккордов, потом взглянула на меня и затем снова на ноты.

– Не присядете ли вы на ваше место? – спросила она отрывисто тихим голосом.

– В самый последний раз, – ответил я.

Она ничего не сказала; все ее внимание было приковано к нотам, которые она знала наизусть; эту музыку она прежде играла много раз и никогда не пользовалась нотами. Я понял, что она слышит меня, что чувствует мое близкое присутствие, ибо с ее щек исчез румянец, а лицо сильно побледнело.

– Мне очень жаль, что вы уезжаете, – проговорила она почти шепотом, все пристальнее вглядываясь в ноты и перебирая клавиши со странной лихорадочной энергией, которой я никогда не замечал в ней прежде.

– Я буду помнить эти ласковые слова, мисс Фэрли, еще очень долго после того, как наступит и канет в Лету завтрашний день.

Она еще больше побледнела и почти совсем отвернулась от меня.

– Не говорите о завтрашнем дне, – сказала она. – Пусть музыка говорит сегодня вечером языком более веселым, чем наш.

Губы ее дрожали. Из них вырвался слабый вздох, который она тщетно пыталась подавить. Пальцы ее затрепетали на клавишах – прозвучала фальшивая нота, она хотела поправиться и с гневом опустила руки на колени. Мисс Холкомб и мистер Гилмор с удивлением оторвали взгляды от карточного стола, за которым сидели. Даже миссис Вэзи, дремавшая в своем кресле, проснулась, когда музыка вдруг резко оборвалась, и осведомилась, что случилось.

– Вы играете в вист, мистер Харттрайт? – спросила мисс Холкомб, значительно посмотрев на меня.

Я знал, что она хочет сказать, знал, что она права, и потому в тот же миг встал и подошел к карточному столу. Когда я отошел от фортепиано, мисс Фэрли перевернула нотную страницу и снова коснулась клавиш, уже более уверенной рукой.

– Я сыграю эту пьесу, – сказала она, страстно ударяя по клавишам. – Я сыграю ее в последний раз!

– Подите сюда, миссис Вэзи, – сказала мисс Холкомб, – нам с мистером Гилмором надоело играть в экарте, будьте партнером мистера Харттрайта в висте.

Старый адвокат насмешливо улыбнулся. У него была лучшая рука, он только что открыл короля. Так что, по всей вероятности, внезапное желание мисс Холкомб переменить игру он приписывал ее неумению проигрывать.

В продолжение всего вечера мисс Фэрли не проронила больше ни слова, не бросила в мою сторону ни единого взгляда. Она оставалась за фортепиано, я – за карточным столом. Она играла непрерывно, словно в музыке искала спасения от самой себя. Ее пальцы то касались клавиш с томительной любовью, с мягкой, горькой, замирающей нежностью, невыразимо прекрасной и грустной для слуха, то переставали ее слушаться или бежали по инструменту механически, как будто их труд был слишком для них тяжел. И все же, какие бы чувства они ни сообщали музыке, их решимость продолжать игру не иссякала. Мисс Фэрли встала из-за фортепиано, только когда мы все встали, чтобы пожелать друг другу доброй ночи.

Миссис Вэзи ближе всех стояла к двери и первая пожала мне руку.

– Я больше не увижусь с вами, мистер Харттрайт, – сказала старушка. – Я искренне сожалею, что вы уезжаете. Вы были очень добры и внимательны, а старые дамы, такие как я, чувствуют доброту и внимание. Желаю вам счастья, сэр, и благополучного пути.

Следующим подошел мистер Гилмор:

– Надеюсь, нам представится еще случай познакомиться поближе, мистер Харттрайт. Вы вполне уверены, что это небольшое дельце находится в надежных руках? Да, да, разумеется. Господи, как холодно! Не стану вас больше задерживать. *Von voyage*, мой дорогой сэр, *von voyage*, как говорят французы.

Настала очередь мисс Холкомб прощаться.

– В половине восьмого завтра утром, – сказала она, а затем добавила шепотом. – Я слышала и видела больше, чем вы думаете. Ваше сегодняшнее поведение сделало меня вашим другом на всю жизнь.

Мисс Фэрли подошла последней. Боясь выдать себя, я не взглянул на нее, когда взял ее руку в свою, думая о завтрашнем дне.

– Я уезжаю рано утром, – сказал я, – прежде чем вы...

– Нет-нет, – перебила она меня торопливо, – не прежде, чем я встану. Я спущусь к завтраку с Мэриан. Я не настолько неблагодарна и забывчива, чтобы не помнить последних трех месяцев...

Голос изменил ей, ее рука нежно пожала мою и тут же выпустила. Она ушла еще до того, как я успел пожелать ей «доброй ночи».

Конец моего рассказа быстро приближается, приближается с той же неизбежностью, с какой наступил рассвет в то последнее мое утро в Лиммеридже.

Когда я сошел к завтраку, еще не было половины восьмого, однако обе сестры уже ждали меня в столовой. В холодной и тускло освещенной комнате, в унылом утреннем безмолвии дома мы трое сели за стол и старались есть, старались говорить. Наши усилия оказались тщетны, и я встал из-за стола, чтобы положить этому конец.

Едва я протянул руку мисс Холкомб, которая была ближе ко мне, мисс Фэрли вдруг отвернулась и поспешно вышла из комнаты.

– Так лучше, – сказала мне мисс Холкомб, когда дверь закрылась, – лучше для вас и для нее.

С минуту я не мог вымолвить ни слова: тяжело было лишиться ее, не попрощавшись, не взглянув на нее в последний раз. Взяв себя в руки, я попытался проститься с мисс Холкомб в подходящих случаю выражениях, однако слова, которые мне хотелось ей высказать, свелись к единственной фразе:

– Заслуживаю ли я, чтобы вы написали мне?

Вот все, что я мог сказать.

– Вы заслуживаете всего, что будет в моих силах сделать для вас, пока мы оба живы. Каков бы ни был конец у этой истории, вы будете о нем знать.

– А если я снова смогу быть вам полезен, через много лет, когда изгладится память о моей самонадеянности и моем безумстве...

Я больше не мог говорить. Голос мой дрожал, а на глаза помимо моей воли выступили слезы.

Мисс Холкомб схватила мои руки и пожала их крепко и уверенно, по-мужски; темные глаза ее сверкнули; щеки вспыхнули; решительное и энергичное лицо просияло и сделалось прекрасным, озарившись чистым внутренним светом ее великодушия и сочувствия.

– Если нам понадобится помощь, я непременно обращусь к вам как к моему другу и ее другу, как к моему и ее брату.

Она замолчала, притянула меня ближе к себе – бесстрашное, благородное создание! – как сестра коснулась моего лба губами и обратилась ко мне по имени:

– Господь да благословит вас, Уолтер! Подождите здесь и постарайтесь успокоиться. Ради нашего общего блага теперь мне лучше удалиться. Я посмотрю с балкона, как вы поедете.

Она вышла из комнаты. Я повернулся к окну, за которым увидел лишь унылый пустынный осенний пейзаж. Мне было необходимо собраться с силами, прежде чем, в свою очередь, покинуть эту комнату навсегда.

Прошла минута, едва ли больше, когда я услышал звук тихо отворившейся двери и шелест женского платья. Сердце мое бешено забилося, я обернулся. С дальнего конца столовой ко мне приближалась мисс Фэрли.

Она остановилась в нерешительности, когда наши взгляды встретились и она поняла, что мы в комнате одни. Затем с мужеством, которое женщины так часто теряют, столкнувшись с малыми испытаниями и так редко – с крупными, подошла ко мне ближе, необычно бледная и необычно спокойная, пряча что-то в складках своего платья.

– Я ходила в гостиную, чтобы взять вот это, – проговорила она. – Это будет напоминать вам о вашем пребывании в Лиммеридже, о друзьях, которых вы здесь оставляете. Вы говорили

мне, что я делаю успехи, когда я рисовала этот пейзаж... И вот я подумала: может быть, вам будет приятно...

Она отвернулась и протянула мне свой рисунок беседки, в которой мы встретились с ней впервые. Бумага дрожала в ее руках, когда она протягивала мне рисунок, и задрожала в моей, когда я его взял.

Я боялся выдать свои чувства и только ответил:

– Я никогда не расстанусь с ним, всю мою жизнь этот рисунок будет самым дорогим сокровищем для меня. Я чрезвычайно благодарен вам и за него, и за то, что вы не дали мне уехать, не простившись с вами.

– О, – сказала она простодушно, – могла ли я поступить иначе после того, как мы с вами провели столько счастливых дней вместе!

– Эти дни, может статься, не вернутся больше никогда, мисс Фэрли, наши жизненные пути расходятся. Но если когда-нибудь настанет время, когда преданность всего моего сердца, всей моей души и все мои силы смогут дать вам минутное счастье или избавить вас от минутного горя, вспомните о бедном учителе рисования, который учил вас. Мисс Холкомб обещала мне это, обещаете ли это и вы?

Грусть расставания тускло мерцала в нежных голубых глазах ее, наполненных слезами.

– Обещаю, – с трудом выговорила она. – О, не смотрите на меня так! Я обещаю вам это от всего сердца.

Я осмелился подойти к ней ближе и протянул руку со словами:

– У вас много друзей, которые любят вас, мисс Фэрли. Ваше будущее счастье является предметом надежд многих из них. Могу ли я сказать при расставании, что оно также является предметом и моих надежд?

Слезы заструились по ее щекам. Одной рукой она оперлась о стол, чтобы удержаться на ногах, а другую подала мне. Я взял ее и крепко пожал. Голова моя склонилась над этой рукой, слезы мои упали на нее, губы мои в эту последнюю минуту прижались к ней – не с любовью, о нет! – с агонией отчаяния.

– Ради бога, оставьте меня! – проговорила она слабым голосом.

С этими умоляющими словами вырвалась тайна ее сердца. Я не имел права слышать их, не имел права ответить на них; эти слова, во имя ее святой беззащитности, изгоняли меня из комнаты. Все было кончено. Я выпустил ее руку из своей. Я больше ничего не сказал. Слезы скрыли ее от моих глаз, я отер их, чтобы взглянуть на нее в последний раз. В изнеможении она села в кресло, положила руки на стол и устало опустила на них свою прелестную головку. Один прощальный взгляд – и дверь закрылась, бездна разлуки разверзлась между нами... Образ Лоры Фэрли отныне стал для меня лишь воспоминанием прошлого.

## **Рассказ продолжает Винсент Гилмор (поверенный на Ченсери-лейн)**

### **I**

Я пишу эти строки по просьбе моего друга мистера Уолтера Хартрайта. Их назначение в том, чтобы запечатлеть некоторые события, существенно повлиявшие на судьбу мисс Фэрли и происшедшие уже после отъезда мистера Хартрайта из Лиммериджа.

Нет нужды сообщать здесь, являюсь ли я или нет приверженцем обнародования этой достопримечательной семейной истории, важная часть которой предстанет перед читателями в моем повествовании. Мистер Хартрайт взял на себя ответственность за это обнародование, и, как станет очевидно из обстоятельств, о которых здесь будет рассказано, он вполне заслужил право, если таково его решение, поступать по своему усмотрению. Для претворения в жизнь его намерения поведать эту историю читателям наиболее правдивым и занимательным образом необходимо, чтобы ее рассказывали по ходу дела именно те лица, которые имели в описываемых событиях непосредственное участие. Вот чем объясняется мое появление здесь в роли рассказчика. Я присутствовал в Лиммеридже во время короткого пребывания сэра Персиваля Глайда в Камберленде и был очевидцем важных событий, происшедших, пока он оставался в доме мистера Фэрли. Вот почему свой долг я вижу в прибавлении новых звеньев к цепи событий, а начну я свой рассказ с того самого места, на котором его прервал мистер Хартрайт.

Я прибыл в Лиммеридж в пятницу второго ноября.

В мое намерение входило дожидаться сэра Персиваля Глайда. Если бы в результате этого визита был назначен день свадьбы сэра Персиваля с мисс Фэрли, я должен был, получив необходимые распоряжения, вернуться в Лондон и заняться составлением брачного контракта.

В пятницу мистер Фэрли не удостоил меня свиданием. Вот уже много лет он болел или, по крайней мере, воображал себя больным; слабость не позволила ему принять меня и в тот день.

Мисс Холкомб была первой из членов семьи, с кем я встретился. Она приветствовала меня у дверей замка и представила мне мистера Хартрайта, который уже несколько месяцев проживал в Лиммеридже.

Мисс Фэрли я увидел только за ужином. Я с огорчением заметил, что она выглядела не совсем здоровой. Это милая, кроткая девушка, такая же любезная и внимательная ко всем, как была ее добрейшая матушка, хотя, между нами, внешне она больше походит на своего отца. У миссис Фэрли были темные глаза и волосы, ее старшая дочь мисс Холкомб мне ее очень напоминает. Весь вечер нам играла мисс Фэрли, правда не так хорошо, как обычно. В вист мы сыграли всего один роббер, что было сущей профанацией этой благородной игры. Мистер Хартрайт произвел на меня благоприятное впечатление, когда нас представили друг другу, но вскоре я убедился, что и он не свободен от некоторых присущих его возрасту недостатков. Есть три вещи, которые теперешние молодые люди не умеют делать: проводить время за вином, играть в вист и говорить дамам комплименты. Мистер Хартрайт не стал исключением из этого правила. Однако во всех других отношениях, насколько я мог заметить при столь недолгом знакомстве, он показался мне скромным и весьма воспитанным молодым человеком.

Так прошла пятница. Я не стану говорить здесь о более серьезных вопросах, которые занимали меня весь тот день: об анонимном письме к мисс Фэрли, о мерах, которые я счел нужным принять, когда мне стало известно о нем, и о моей убежденности в том, что сэр Перси-

валь Глайд охотно предоставит нам все необходимые разъяснения обстоятельств этого дела, – обо все этом было подробно рассказано моим предшественником.

В субботу мистер Хартрайт уехал еще до того, как я сошел к завтраку. Мисс Фэрли весь день не выходила из своей комнаты, а мисс Холкомб, как мне показалось, была не в духе. Дом был уже не тот, что при мистере и миссис Филипп Фэрли. Утром я пошел прогуляться по тем местам, которые впервые увидел, когда приехал в Лиммеридж по делам семьи, лет тридцать тому назад. Все стало другим.

В два часа мистер Фэрли прислал слугу сообщить, что он чувствует себя в состоянии принять меня. Вот уж он-то не изменился с той поры, когда я увидел его впервые. Говорил он, как всегда, о себе, о своих больных нервах, удивительных монетах и своих бесподобных гравюрах Рембрандта. Стоило мне только заговорить о деле, приведшем меня в Лиммеридж, как он закрыл глаза и сказал, что я «расстраиваю» его. Я же, однако, продолжил «расстраивать» его, снова и снова возвращаясь к этому предмету. Мне удалось убедиться лишь в том, что на брак своей племянницы он смотрит как на решенный вопрос, что этот брак благословил мистер Фэрли и он сам, что это прекрасная партия для мисс Фэрли и что лично он будет крайне рад, когда все связанные с предстоящей свадьбой хлопоты будут позади. Что же касается брачного контракта, то, если я обсужу его с племянницей, а затем изучу дела семейного архива настолько подробно, насколько сочту необходимым, и подготовлю документ, ограничив его непосредственное участие в этом процессе как опекуна единственным «да», произнесенным в нужный момент, он, разумеется, с величайшим удовольствием пойдет навстречу и мне, и всем другим во всех вопросах. А пока же он, несчастный страдалец, – разве я не вижу этого сам – вынужден оставаться в своей комнате. Неужели он заслуживает, чтобы ему докучали? Нет. Так почему же его не оставляют в покое?

По всей вероятности, меня должно было бы удивить подобное полное самоотречение мистера Фэрли от обязанностей опекуна, если бы я не был досконально знаком с делами семьи и не помнил, что мистер Фэрли человек одинокий и, следовательно, не имеет другого интереса, кроме как распоряжаться поместьем до конца собственной жизни. А посему не был ни удивлен, ни разочарован результатами нашей встречи. Мистер Фэрли вполне оправдал мои ожидания, и все тут.

Воскресенье прошло очень скучно. Я получил письмо от поверенного сэра Персиваля Глайда. Он уведомлял меня, что ознакомился с копией анонимного письма, которую я отправил ему, сопроводив ее необходимыми пояснениями. Мисс Фэрли присоединилась к нам после полудня, бледная и подавленная, непохожая на саму себя. У нас состоялся небольшой разговор, и я осмелился коснуться деликатного вопроса о сэре Персивале. Она слушала меня молча. Она охотно поддерживала все другие темы разговора, но уклонилась от этой. Я начал сомневаться, уж не сожалеет ли она о своей помолвке, как это часто случается с молодыми леди, к которым сожаление приходит в самый последний момент.

В понедельник приехал сэр Персиваль Глайд.

Он показался мне очень привлекательным мужчиной и внешностью, и манерами. Он выглядел несколько старше, чем я ожидал; небольшие залысины надо лбом, довольно изможденное лицо, однако он был подвижен и весел, словно юноша. Мисс Холкомб он встретил с восхитительной сердечностью и непринужденностью, а когда она представила ему меня, он заговорил со мной так любезно, что мы тотчас сошлись, как старые друзья. Мисс Фэрли не было с нами, когда он приехал, но она вошла в комнату через десять минут. Сэр Персиваль встал и поздоровался с ней с совершеннейшей грацией. Его очевидная озабоченность плохим самочувствием молодой девушки, вызванная переменой в ее внешности, была высказана им с нежностью и уважением, необыкновенная деликатность в его голосе, тоне и обращении в равной степени делала честь как его воспитанию, так и его здравому смыслу. В свете всего вышесказанного я был несколько удивлен, что мисс Фэрли чувствовала себя в его обществе



смущенно и скованно и воспользовалась первой же возможностью уйти из комнаты. Сэр Персиваль, казалось, не заметил ни ее сдержанного приема, ни ее поспешного бегства. Он не навязывал своего внимания мисс Фэрли, пока та оставалась с нами, и не смутил мисс Холкомб ни единым замечанием по поводу ее ухода. Его такт и манеры оставались на высоте как в этом, так и во всех других случаях во все время его пребывания в Лиммеридже.

Как только мисс Фэрли покинула комнату, сэр Персиваль тотчас сам начал разговор об анонимном письме, избавив нас от смущения подступиться к столь щекотливому вопросу. По пути из Хэмпшира он останавливался в Лондоне, видел своего поверенного, прочел отосланные тому документы и поспешил в Камберленд, желая как можно скорее предоставить нам самое полное разъяснение, какое только возможно дать при помощи слов. Услышав это, я протянул ему оригинал письма. Он поблагодарил меня, но даже не захотел взглянуть на него, ссылаясь на то, что видел копию и готов оставить оригинал в наших руках.

Сделанное им объяснение было столь очевидно и удовлетворительно, как я того и ожидал.

Миссис Кэтерик, сообщил он нам, в прошлом проявила преданность и оказала много услуг членам семьи сэра Персиваля и ему самому, в силу чего он чувствовал себя в долгу перед ней. Она была несчастна вдвойне, поскольку вышла замуж за человека, который в скором времени бросил ее, и имела дочь, чьи умственные способности были расстроены с самого юного возраста. Хотя после замужества миссис Кэтерик переехала в ту часть Хэмпшира, которая находилась очень далеко от поместья сэра Персиваля, он старался не терять ее из виду. Его дружеское расположение к бедной женщине многократно усилилось благодаря восхищению терпением и мужеством, с которыми та переносила все ниспосланные ей несчастья. С течением времени симптомы умственного расстройства ее несчастной дочери стали настолько очевидными, что необходимо было поручить девушку медицинскому попечению. Эту необходимость признавала сама миссис Кэтерик, однако в силу предрассудков, распространенных в ее сословии, не могла допустить, чтобы ее дочь, как простую нищенку, поместили в общественный сумасшедший дом. Сэр Персиваль отнесся к этому предрассудку с уважением, с каким он вообще относился к любому проявлению благородной независимости чувств в представителях всех классов общества, и решил выказать свою благодарность миссис Кэтерик за преданность интересам его семьи, взяв на себя расходы по содержанию ее дочери в одной заслуживающей доверия частной клинике. К огорчению ее матери и самого сэра Персиваля, несчастной девушке стало известно о его участии в этом деле, которого потребовали от сэра Персиваля обстоятельства, и прониклась к нему сильнейшей ненавистью и недоверием. Очевидно, к одному из проявлений этой неприязни, принимавшей у нее разные формы еще в сумасшедшем доме, следовало отнести и анонимное письмо, написанное несчастной после ее побега. Если его объяснения не кажутся мисс Холкомб и мистеру Гилмору, которые хорошо помнят содержание письма, убедительными или они пожелают ознакомиться с другими подробностями относительно частной клиники (адрес он упомянул, так же как и имена и адреса двух докторов, на основании заключений которых девушка была помещена в сумасшедший дом), он готов дать любые дополнительные разъяснения и пролить свет на любую неясность. Он исполнил свой долг в отношении несчастной девушки, поручив своему поверенному не жалеть никаких средств, дабы отыскать беглянку и вновь препоручить ее заботам докторов, и теперь больше всего желал бы исполнить свой долг по отношению к мисс Фэрли и ее родным так же прямодушно и честно.

Я первым ответил ему. Мне было совершенно очевидно, как я должен поступить. В том-то и состоит красота юриспруденции, что она может оспаривать любое показание любого человека независимо от обстоятельств и формы, в которых оно было сообщено. Если бы мне официально было поручено возбудить дело против сэра Персиваля Глайда на основании его собственного заявления, я, вне всякого сомнения, мог бы сделать это. Однако мои обязанности в

данном случае не простирались так далеко. Я должен был лишь взвесить только что услышанное объяснение, отдав должное уважение высокой репутации джентльмена, предоставившего его, и решить по совести, были ли обстоятельства, изложенные сэром Персивалем, за него или против. Я был совершенно убежден, что они были определены за него; в соответствии с этим я во всеуслышание объявил, что, по моему разумению, его объяснение является бесспорно исчерпывающим.

Пристально посмотрев на меня, мисс Холкомб произнесла несколько слов со своей стороны в том же роде, однако произнесла их с какой-то неуверенностью, что, на мой взгляд, было не вполне оправданно в свете услышанного. Не возьмусь утверждать, заметил ли это сэр Персиваль или нет. Думаю, что заметил, поскольку он снова вернулся к затронутой в нашей беседе теме, хотя мог бы, не нарушая приличий, прекратить разговор.

– Если бы мое незамысловатое объяснение было адресовано исключительно мистеру Гилмору, – сказал он, – я счел бы излишним повторное обращение к обстоятельствам этого неприятного дела. Я надеялся, что мистер Гилмор, как джентльмен, поверит мне на слово, и теперь, когда он и в самом деле оказал мне такую честь, обсуждение этой темы между нами должно быть окончено. Но с дамой я вынужден вести себя иначе. Я считаю себя обязанным представить ей – чего не стал бы делать ни для одного мужчины – доказательства истинности моих слов. Вы не можете требовать этих доказательств, мисс Холкомб, но я все же полагаю, что таков мой долг по отношению к вам и особенно по отношению к мисс Фэрли. Покорнейше прошу вас тотчас же написать матери несчастной девушки, миссис Кэтерик, с просьбой подтвердить объяснение, которое я вам только что дал.

Я заметил, что мисс Холкомб изменилась в лице, – по-видимому, она почувствовала себя неловко. Предложение сэра Персиваля – как бы деликатно оно ни было изложено – показалось ей, как, впрочем, и мне, легким намеком на ее собственную нерешительность, прозвучавшую несколько ранее в голосе девушки.

– Надеюсь, сэр Персиваль, вы не настолько несправедливы, чтобы заподозрить меня в недоверии к вам? – проговорила она быстро.

– Конечно нет, мисс Холкомб. Свое предложение я сделал единственно из уважения к вам. Простите ли вы мое упрямство, если я все же осмелюсь настоять на своем?

Сэр Персиваль подошел к письменному столу, придвинул к нему стул и раскрыл ящик с письменными принадлежностями.

– Прошу вас. Написав эту записку, – сказал он, – вы чрезвычайно обяжете меня. Это не займет у вас более пяти минут. Задайте миссис Кэтерик всего лишь два вопроса: во-первых, с ее ли позволения ее дочь была помещена в сумасшедший дом и, во-вторых, заслуживает ли участие, которое я принял в этом деле, благодарности ко мне со стороны миссис Кэтерик? Мистер Гилмор более не беспокоится по поводу этого неприятного дела, не беспокоитесь и вы – так успокойте же и меня, напишите эту записку.

– Вы заставляете меня уступить вашей просьбе, сэр Персиваль, хотя я предпочла бы отказать вам. – С этими словами мисс Холкомб встала со своего места и подошла к письменному столу.

Сэр Персиваль поблагодарил ее, подал ей перо, а затем отошел к камину, где на ковре лежала маленькая левретка мисс Фэрли. Он протянул руку и добродушно позвал собачку:

– Иди ко мне, Нина. Ведь мы помним друг друга, правда?

Левретка, трусливая и упрямая, как все комнатные собачонки, испуганно взглянула на него, отпрянула от его руки, жалобно закулила, задрожала и спряталась под кушетку. Едва ли можно предположить, что сэра Персиваля вывел из себя такой пустяк, как прием собаки, оказанный ему, однако я заметил, что он поспешно отошел к окну. Вероятно, порой сэр Персиваль бывает очень раздражительным. Если так, я его понимаю. Я и сам временами бываю крайне раздражительным.

Мисс Холкомб писала недолго. Закончив, она встала и подала записку сэру Персивалю. Он поклонился, взял записку, тотчас, не читая, сложил ее, запечатал, надписал адрес и молча вернул ее мисс Холкомб. В жизни не видел ничего, что было бы сделано с той же грациозностью и достоинством.

– Вы настаиваете, чтобы я непременно отправила это письмо, сэр Персиваль? – спросила мисс Холкомб.

– Умоляю вас отправить его, – ответил он. – А теперь, когда письмо уже написано и запечатано, позвольте мне задать вам несколько вопросов о несчастной женщине, которой оно касается. Я прочитал сообщение, любезно отосланное мистером Гилмором моему поверенному, с описанием обстоятельств, при которых была установлена личность автора анонимного письма. Однако в этом сообщении не было упомянуто кое-каких подробностей. Виделась ли Анна Кэтерик с мисс Фэрли?

– Конечно нет, – ответила мисс Холкомб.

– А вас она видела?

– Нет.

– Стало быть, она не видела никого из обитателей замка, кроме некоего мистера Хартрайта, который случайно встретился с ней на здешнем кладбище?

– Никого больше.

– Как я понимаю, мистер Хартрайт был нанят в Лиммеридж в качестве учителя рисования? Он принадлежит к одному из обществ акварелистов?

– Думаю, да, – ответила мисс Холкомб.

Сэр Персиваль помолчал минуту, как бы обдумывая этот последний ответ, а затем прибавил:

– Удалось ли вам разузнать, где жила Анна Кэтерик, когда была здесь?

– Да. Она жила на ферме Тодда Корнера.

– Мы обязаны найти бедную девушку ради нее самой, – продолжал сэр Персиваль. – Быть может, она сказала на ферме нечто такое, что помогло бы нам разыскать ее. При случае я прогуляюсь туда и разузнаю, что смогу. Пока же – сам я не в состоянии обсуждать с мисс Фэрли это неприятное дело, – могу ли я просить вас, мисс Холкомб, оказать мне любезность и передать мисс Фэрли мои объяснения, разумеется не раньше, чем вы получите ответ на ваше письмо?

Мисс Холкомб обещала исполнить его просьбу. Сэр Персиваль поблагодарил ее, любезно поклонился и оставил нас, чтобы устроиться в отведенной ему комнате. Когда он открывал дверь, сварливая собачонка высунула свою острую мордочку из-под кушетки и залаяла на него.

– Мы не без пользы провели это утро, мисс Холкомб, – сказал я, едва мы остались одни. – Славно кончился этот тревожный день!

– Да, – ответила она, – конечно. Я очень рада, что ваши сомнения рассеялись.

– Мои? Полагаю, что, имея в руках такое письмо, и ваши тоже!

– О да, может ли быть иначе? Я знаю, что это невозможно, – продолжала она, говоря скорее сама с собой, чем со мной, – но мне так хотелось бы, чтобы Уолтер Хартрайт задержался в Лиммеридже подольше, дабы присутствовать при этом объяснении и слышать, как мне было предложено написать эту записку.

Ее последние слова несколько удивили меня и, пожалуй, даже задели.

– Конечно, – заметил я, – события удивительным образом вовлекли мистера Хартрайта в это дело с анонимным письмом, и я готов признать, что вел он себя, о чем свидетельствуют все факты, весьма деликатно и благоразумно, но, право же, я отказываюсь понимать, каким образом присутствие мистера Хартрайта могло бы повлиять на мое или ваше впечатление от слов сэра Персиваля.

– Это всего лишь моя фантазия, – произнесла она рассеянно. – Нет нужды спорить, мистер Гилмор. Ваш жизненный опыт должен служить мне, и служит лучшим ориентиром и руководящим началом, о котором я только могла мечтать.

Мне совсем не понравилось, что она целиком перекладывает всю ответственность на мои плечи. Если бы это сделал мистер Фэрли, меня бы это не удивило. Но я никак не ожидал, что такая умная и решительная девушка, как мисс Холкомб, предпочтет уклониться от высказывания собственного мнения.

– Если вас все еще беспокоят какие-то сомнения, – заметил я, – почему бы вам прямо сейчас не поделиться ими со мной? Скажите откровенно: есть ли у вас причины не доверять сэру Персивалю Глайду?

– Никаких.

– Может быть, что-то в его объяснении вы находите неправдоподобным или противоречивым?

– Как я могу сказать, что нахожу, мистер Гилмор, особенно после того, как он предоставил нам неопровержимое доказательство собственных слов? Может ли быть лучшее свидетельство в его пользу, чем свидетельство матери несчастной девушки?

– Разумеется, нет. Если ответ на ваше письмо будет удовлетворительным, я не вижу, чего еще могут требовать от сэра Персиваля дружелюбно расположенные к нему люди.

– Тогда отправим письмо, – сказала мисс Холкомб, вставая, чтобы выйти из комнаты, – и не будем больше возвращаться к этой теме, пока не придет ответ. Не обращайтесь внимания на мои сомнения. Единственно, чем я могу объяснить их, это тем, что слишком беспокоилась о Лоре все последние дни, а беспокойство, мистер Гилмор, может выбить из колеи и более сильных духом.

Мисс Холкомб поспешила покинуть меня, ее обычно такой уверенный голос дрожал, когда она произносила эти последние слова. Чувствительная, пылкая, страстная натура! В наш пошлый, поверхностный век таких женщин на десять тысяч приходится не более одной! Я знал ее с юных лет, наблюдал, как она выросла, как вела себя во время разных семейных передраг, мой опыт заставлял меня считаться с ее сомнениями, чего, конечно, не могло случиться, если бы речь шла о любой другой женщине. Я не видел ни единой причины для беспокойства или каких-либо сомнений, однако разговор с мисс Холкомб зародил в моем сердце смутное беспокойство и сомнение. В молодости я бы горячился и нервничал, раздосадованный собственным необъяснимым состоянием, но теперь, с годами, я многое стал понимать лучше и потому отнесся к ситуации философски, решив пройти и развеяться.

## II

Мы все встретились снова за ужином.

Сэр Персиваль пребывал в таком безудержно-веселом настроении, что я едва узнавал в нем того самого человека, чей спокойный такт, утонченность и здравый смысл произвели на меня неизгладимое впечатление при утренней встрече. Следы его прежнего обращения проявлялись время от времени только по отношению к мисс Фэрли. Один ее взгляд или слово нередко останавливало его громкий смех, заставляло умолкнуть его веселую болтовню и привлекало все его внимание к девушке, к ней, и только к ней. Хотя он ни разу не попытался открыто вовлечь ее в разговор, он не упускал ни одной возможности сделать это как бы случайно, при малейшем поводе с ее стороны, и тогда, в более благоприятные мгновения, говорил ей слова, которые мужчина с меньшим тактом и деликатностью сказал бы в ту самую минуту, когда они пришли ему в голову. К моему удивлению, его внимание, хоть и не осталось незамеченным ею, не трогало мисс Фэрли. Время от времени она несколько смущалась, когда он смотрел на нее или заговаривал с ней, но ни на миг не становилась к нему более приветливой.

Знатность, богатство, образование, красивая внешность, уважение джентльмена и преданность влюбленного – все это было смиренно положено к ее ногам, и, по-видимому, понапрасну.

На следующий день, во вторник, сэр Персиваль, взяв в провожатые одного из слуг, отправился на ферму Тодда Корнера. Его расспросы, как мне стало известно позже, ни к чему не привели. По возвращении у него состоялось свидание с мистером Фэрли, а после полудня они вместе с мисс Холкомб ездили кататься верхом. Ничего более, о чем стоило бы здесь упомянуть, в тот день не произошло. Вечер прошел как обычно. Никаких перемен ни в сэре Персивале, ни в мисс Фэрли не наблюдалось.

В среду с почтой доставили ответ от миссис Кэтерик. Я снял копию с этого документа, которая и теперь хранится у меня и которую я привожу ниже. Написано было следующее:

*Милостивая сударыня, честь имею известить Вас о том, что я получила Ваше письмо, в котором Вы спрашиваете, с моего ли ведома и согласия дочь моя Анна была отдана под медицинский присмотр и заслуживает ли моей признательности участие сэра Персиваля Глайда в этом деле. Прошу Вас принять утвердительный ответ на оба эти вопроса. За сим остаюсь Вашей преданной служгой,*

*Джейн Анна Кэтерик.*

Кратко, четко и по делу; по форме – слишком деловое письмо, чтобы быть написанным женщиной, по существу – ясное подтверждение, какого только можно пожелать, правдивости слов сэра Персиваля Глайда. Таково было мое мнение и, с небольшой оговоркой, мнение мисс Холкомб. Сэр Персиваль, когда мы показали ему письмо, по-видимому, не был удивлен его краткостью и сухостью. Он сказал нам, что миссис Кэтерик – женщина не слишком разговорчивая, благоразумная и прямая, лишенная всякого воображения и излагающая свои мысли на письме так же кратко и ясно, как и в разговоре.

Теперь, когда ответ был получен, следовало ознакомить мисс Фэрли с объяснением сэра Персиваля. Мисс Холкомб взяла это на себя; она пошла было к сестре, но неожиданно вернулась и села рядом с креслом, в котором я читал газету. За минуту до этого сэр Персиваль пошел осматривать конюшни, и в комнате, кроме нас двоих, больше никого не было.

– Полагаю, мы действительно сделали все, что могли, – проговорила мисс Холкомб, вертя в руках письмо миссис Кэтерик.

– Если мы друзья сэра Персиваля, которые знают его и верят ему, мы сделали все и даже больше, чем было необходимо, – ответил я, несколько раздосадованный тем, что ее сомнения вновь вернулись. – Если же мы враги ему, подозревающие его...

– Об этом не может быть и речи, – перебила она меня. – Мы друзья сэра Персиваля, и, если проявленные им великодушие и снисхождение могли бы еще больше увеличить наше уважение к нему, мы были бы должны сейчас восхищаться сэром Персивалем. Вы знаете, что он виделся с мистером Фэрли, а после их беседы ездил со мной кататься верхом?

– Да. Я видел вас.

– По дороге мы разговаривали об Анне Кэтерик и о том, при каких странных обстоятельствах встретил ее мистер Хартрайт. Но вскоре мы оставили эту тему, и сэр Персиваль заговорил о своей помолвке с Лорой, проявив при этом полное бескорыстие. Он сказал, что заметил плохое настроение мисс Фэрли и что готов, если ему не сообщат иное, именно этой причине приписать перемену своей невесты в отношении к нему. Но если есть какие-то более серьезные причины этой перемены, он умолял, чтобы ни мистер Фэрли, ни я не принуждали ее ни к чему. Он только просил, чтобы ей напомнили в последний раз, при каких обстоятельствах происходила их помолвка и как он вел себя все это время. Если же, все обдумав, она всерьез пожелает, чтобы он отказался от собственных притязаний стать ее мужем, и откровенно признается ему в этом лично, он пожертвует собой и предоставит ей полную свободу расторгнуть помолвку.

– Ни один мужчина не мог бы сказать больше этого, мисс Холкомб. Насколько я могу судить, немногие мужчины на его месте сказали бы столько.

Мисс Холкомб помолчала с минуту после того, как я произнес эти слова, а потом взглянула на меня со странным выражением растерянности и глубокой обеспокоенности.

– Я никого не обвиняю и ничего не подозреваю, – проговорила она резко. – Но я не могу и не хочу уговаривать Лору вступить в этот брак.

– Но ведь именно об этом и просил вас сэр Персиваль, – возразил я с удивлением. – Он умолял вас ни к чему ее не принуждать.

– Но косвенно он заставляет меня сделать именно это, прося передать ей его слова.

– Как это возможно?

– Вы сами знаете Лору, мистер Гилмор. Стоит мне сказать ей, чтобы она вспомнила обстоятельства своей помолвки, как я невольно обращаюсь к двум самым сильным чувствам в ее натуре: к ее любви к отцу и к ее неизменной честности. Вам хорошо известно, что она ни разу в жизни не нарушила каких-либо обещаний, что она согласилась на эту помолвку, когда у ее отца обнаружили смертельную болезнь, и что перед своей кончиной он искренне радовался предстоящему замужеству Лоры и сэра Персиваля Глайда и возлагал на этот брак большие надежды.

Признаюсь, я был несколько обескуражен взглядом мисс Холкомб на события.

– Вы, разумеется, не имеете в виду, что во время вашей вчерашней беседы сэр Персиваль рассчитывал именно на этот результат, о котором говорите вы?

Ее открытое, бесстрашное лицо ответило мне за нее.

– Неужели вы думаете, что я хоть на одну минуту осталась бы в обществе человека, которого могла бы заподозрить в подобной низости?! – гневно спросила она.

Мне понравилось ее прямодушное негодование. В нашей профессии мы видим так много коварства и так мало негодования, идущего от чистого сердца.

– В таком случае, – сказал я, – простите меня за то, что я использую в разговоре с вами чисто юридическое выражение, вы приводите доводы, не относящиеся к делу. Какими бы ни были последствия, сэр Персиваль имеет право ожидать, что ваша сестра серьезно, со всех сторон, обдумает свою помолвку, прежде чем решится отказаться от данного слова. Если ее мнение о нем переменялось из-за этого несчастного письма, вам следует пойти к ней немедленно и рассказать, что он совершенно оправдался в ваших и моих глазах. Какие еще у нее могут быть возражения против брака с ним? Что может служить оправданием ее переменявшегося отношения к мужчине, чьей женой она по собственному желанию согласилась стать два года назад?

– С точки зрения закона и здравого смысла, мистер Гилмор, у нее нет оправданий. Если ее, как и меня, мучат сомнения, то в обоих случаях вы можете приписать наше странное поведение, если того пожелаете, простому капризу, и мы должны будем найти в себе силы снести это обвинение.

С этими словами мисс Холкомб поднялась и ушла. Когда умной женщине задают серьезный вопрос, от ответа на который она уклоняется, приводя ничего не значащие фразы, в девяносто девяти случаях из ста это верный знак того, что она что-то скрывает. Я вернулся к просматриванию газеты, уверенный в том, что у мисс Холкомб и мисс Фэрли есть какой-то секрет, который они скрывают от сэра Персиваля и от меня. Я считал это обидным для нас обоих, но особенно для сэра Персиваля.

Мои сомнения или, лучше сказать, моя уверенность подтвердилась позже поведением и манерой вести беседу мисс Холкомб, когда мы встретились с ней тем же вечером. Рассказывая о своем разговоре с сестрой, мисс Холкомб была подозрительно кратка и сдержанна. Мисс Фэрли, по-видимому, довольно спокойно выслушала все объяснения насчет письма, но, когда мисс Холкомб заговорила с ней о том, что сэр Персиваль приехал в Лиммеридж затем, чтобы просить ее назначить день свадьбы, она умоляла ее не продолжать и дать время поду-

мать. Если бы сэр Персиваль согласился сейчас оставить ее в покое, она ручалась, что даст ему окончательный ответ еще до конца года. Она просила об этой отсрочке с таким волнением и беспокойством, что мисс Холкомб обещала ей употребить все свое влияние, если понадобится, дабы получить ее. На этом, по настойчивой просьбе мисс Фэрли, все дальнейшие рассуждения о будущей свадьбе были прекращены.

Эта временная отсрочка была, по всей видимости, на руку молодой леди, однако ставила пишущего эти строки в затруднительное положение. С утренней почтой я получил письмо от своего компаньона, которое обязывало меня вернуться в Лондон на следующий день. И до истечения этого года мне едва ли представилась бы возможность снова посетить Лиммеридж-Хаус. В таком случае, если бы мисс Фэрли все же решилась на замужество, мои личные переговоры с ней, необходимые для подготовки брачного контракта, были бы решительно невозможны, и нам пришлось бы вести с ней переписку о таких вещах, которые следует обсуждать только устно при личной встрече. Я ничего не говорил об этом затруднении, пока мисс Холкомб не попросила сэра Персиваля о желаемой отсрочке. Он был слишком галантным джентльменом и немедленно согласился уступить желанию мисс Фэрли. Когда мисс Холкомб уведомила меня об этом, я сообщил, что непременно должен поговорить с ее сестрой до моего отъезда из Лиммериджа. Мы условились, что я смогу увидеться с мисс Фэрли в ее гостиной на следующее утро. Она не сошла к обеду и не присоединилась к нам вечером. Предлогом этому служило ее нездоровье, и мне показалось, сэр Персиваль был несколько раздосадован, услышав об этом.

На следующее утро, сразу же после завтрака, я поднялся в гостиную мисс Фэрли. Бедняжка была так бледна и грустна и встретила меня так мило и радушно, что от намерения пожуричь ее за капризы и нерешительность, которое я принял, поднимаясь по лестнице, не осталось и следа. Я проводил ее к креслу, с которого она встала, и сел напротив. Ее вздорная собачка была в комнате, и я ожидал, что она встретит меня лаем и ворчанием. Как ни странно, капризное животное обмануло мои ожидания, запрыгнув ко мне на колени, как только я опустился в кресло, и уткнув свою острую мордочку в мою руку.

– Вы часто сживали у меня на коленях, когда были ребенком, дитя мое, – сказал я, – а теперь, кажется, ваша собачка решила занять ваш опустевший трон. Этот прелестный рисунок ваш? – Я указал на небольшой альбом, который лежал на столе подле нее и который она, по всей вероятности, просматривала, когда я вошел к ней.

На раскрытой странице был изображен небольшой пейзаж, прекрасно выполненный акварелью. Его-то я и упомянул в своем вопросе, пустячном вопросе, но не мог же я сразу приступить к разговору о делах.

– Нет, – ответила мисс Фэрли, смущенно глядя в сторону, – не мой.

У нее была привычка, которую я помнил за ней еще с детства: она постоянно что-то теребила в руках, первое, что попадется, когда с ней кто-нибудь разговаривал. На этот раз она рассеянно теребила страницу с пейзажем. Лицо ее казалось еще более грустным. Она не смотрела ни на рисунок, ни на меня. Ее глаза беспокойно скользили с одного предмета на другой, – по всей вероятности, она догадывалась, о чем я собирался с ней говорить. Видя это, я решил приступить к делу немедленно.

– Одна из причин, приведшая меня сюда, – желание проститься с вами, моя дорогая, – начал я. – Я должен вернуться в Лондон сегодня же, но перед отъездом я хотел бы переговорить с вами о ваших делах.

– Мне очень жаль, что вы уезжаете, мистер Гилмор, – сказала она ласково. – Когда вы здесь, для меня словно вновь оживают былые счастливые дни.

– Надеюсь, я смогу приехать сюда еще и снова напомнить вам о счастливом прошлом, – продолжал я, – но, поскольку будущее скрыто от нас, я должен воспользоваться случаем и поговорить с вами сейчас. Вот уже много лет я являюсь вашим поверенным и старым другом,

а потому полагаю, что не оскорблю ваших чувств, если напомним о возможности вашего брака с сэром Персивалем Глайдом.

Мисс Фэрли резко отдернула руку от альбома, словно тот неожиданно раскалился и обжег ее. Она судорожно сжала пальцы на коленях, потупила глаза в пол, а на лице ее появилось выражение подавленности, граничившей с отчаянием.

– Неужели об этом непременно нужно говорить? – сказала она упавшим голосом.

– Необходимо коснуться этой темы, – ответил я, – но не задерживаться на подробностях. Скажем только, что вы можете как выйти, так и не выйти замуж. В первом случае я должен заранее подготовить ваш брачный контракт, однако я не могу сделать этого, хотя бы даже из вежливости, не посоветовавшись с вами. Может статься, сегодня мне представился последний шанс услышать от вас самой о ваших пожеланиях. А посему давайте предположим, что ваш брак состоится, и позвольте мне изложить так кратко, насколько это только возможно, каково теперешнее положение ваших дел и каким оно может стать в будущем, после вашего замужества.

Я объяснил мисс Фэрли смысл составления брачного контракта, а затем подробно описал ее перспективы, во-первых, к моменту ее совершеннолетия и, во-вторых, после смерти ее дядюшки, подчеркивая разницу между собственностью, владелицей которой она будет лишь пожизненно, и состоянием, которым сможет распоряжаться по своему усмотрению. Она слушала внимательно, с подавленным, как и раньше, выражением лица, по-прежнему нервно сжимая руки на коленях.

– А теперь, – сказал я в завершение, – сообщите мне, какие условия вам угодно поместить в контракт, который будет составлен в случае, если, как мы с вами предположили, ваш брак будет заключен, разумеется с одобрения вашего опекуна, поскольку вы еще несовершеннолетняя.

Она беспокойно подвинулась на стуле, а потом вдруг посмотрела на меня очень серьезно.

– Если это случится, – начала она слабым голосом, – если я...

– Если вы выйдете замуж, – помог я ей договорить.

– Он не должен разлучать меня с Мэриан! – вскричала она с неожиданной для нее энергичностью. – О мистер Гилмор, молю, пусть в контракте будет условие, что Мэриан останется жить со мной!

При других обстоятельствах мне, вероятно, показалось бы забавным это чисто женское истолкование моего вопроса и предшествовавшего ему пространного объяснения. Но ее взгляд и интонация, с которой она произнесла свою просьбу, были таковы, что не просто настроили меня на серьезный лад, они обеспокоили меня. Ее немногие слова обнаруживали отчаянное желание девушки цепляться за прошлое, что не предвещало ничего хорошего для будущего.

– О том, чтобы Мэриан Холкомб жила с вами, легко договориться частным образом, – сказал я. – Вы, кажется, не поняли моего вопроса. Он относился к вашему состоянию, к вашим деньгам. Предположим, став совершеннолетней, вы захотели бы составить завещание, кому вы пожелали бы оставить ваши деньги?

– Мэриан была для меня и матерью, и сестрой, – ответила добрая, любящая девушка, и ее прелестные голубые глаза засверкали при этих словах. – Могу я завещать их Мэриан, мистер Гилмор?

– Конечно, моя милая, – ответил я. – Но вспомните, какая это большая сумма. Вы хотите, чтобы она целиком отошла мисс Холкомб?

Мисс Фэрли колебалась, она то бледнела, то краснела, а ее рука снова потянулась к альбому.

– Нет, не всю, – проговорила она наконец. – Есть еще один человек, кроме Мэриан...

Она замолчала. Яркий румянец выступил на ее щеках, пальцы тихо выстукивали такт на полях альбома, словно она машинально наигрывала любимый мотив.



– Вы имеете в виду кого-нибудь еще из членов вашей семьи, помимо мисс Холкомб? – подсказал я, видя ее затруднение.

Румянец залил лоб и шею мисс Фэрли; ее нервные пальцы вдруг крепко сжали альбом.

– Есть еще один человек, – продолжала она, не обращая внимания на мои слова, хотя, по всей видимости, слышала их, – есть еще один человек, которому, наверное, было бы приятно получить от меня что-нибудь на память, если только я могу оставить... Ведь в этом нет ничего дурного, если я умру раньше.

Она снова замолчала. Румянец, так неожиданно заливший ее щеки, так же неожиданно сошел с них. Рука, державшая альбом, задрожала и выпустила его. На один лишь миг она подняла на меня глаза и в ту же секунду отвернулась. При этом движении она выронила на пол свой носовой платок и торопливо закрыла лицо руками.

Как печально было мне, тому, кто помнил ее веселым, счастливым ребенком, смеявшимся по целым дням, видеть теперь перед собой девушку, пребывавшую в самом расцвете юности и красоты, в таком подавленном и расстроенном состоянии!

Огорченный ее слезами, я словно позабыл о годах, минувших с тех пор, как она была маленькой девочкой, я пододвинул к ней свой стул, поднял с ковра упавший носовой платок и мягко отвел ее руки от лица.

– Не плачьте, душа моя, – сказал я, вытирая ей слезы, как будто она все еще была той маленькой Лорой Фэрли, которую я знал десять лет назад.

Это был лучший способ успокоить ее. Она положила свою головку мне на плечо и улынулась сквозь слезы.

– Мне очень жаль, что я забылась, – сказала она просто. – Я не совсем здорова в последнее время, чувствую себя очень слабой и немного нервничаю, часто плачу без причины, когда остаюсь наедине с собой. Но теперь мне уже лучше, и я могу отвечать вам, мистер Гилмор, право, могу.

– Нет-нет, моя милая, – возразил я, – будем считать, что на настоящий момент тема нашего разговора исчерпана. Вы сказали довольно, чтобы я наилучшим образом позаботился о ваших интересах, а подробности мы обсудим как-нибудь при случае. Оставим пока дела и поговорим о чем-нибудь другом.

Я начал с ней разговор на другие темы. Через десять минут она сделалась веселее, и я поднялся, чтобы попрощаться с ней.

– Приезжайте к нам снова, – сказала она серьезно. – Я постараюсь быть более достойной вашего доброго расположения ко мне, если только вы приедете снова.

Опять она цеплялась за прошлое, но теперь в моем лице, как раньше цеплялась за него в лице мисс Холкомб. Меня тревожило, что уже в начале своей жизни она оглядывается назад, как я – в конце своей.

– Если я приеду, надеюсь найти вас в лучшем здравии, – сказал я, – веселее и счастливее. Да благословит вас Бог, моя милая!

Вместо ответа она подставила мне щеку для поцелуя. Даже у адвокатов есть сердце, и мое слегка ныло, когда я покидал ее.

Наше свидание длилось не более получаса. В моем присутствии мисс Фэрли не обронила ни слова, чтобы объяснить мне тайну своего огорчения и тревоги при мысли о предстоящем замужестве, однако она успела привлечь меня на свою сторону в этом вопросе, хоть я и не понимаю, как ей это удалось. Я вошел в комнату молодой девушки, чувствуя, что сэр Персиваль Глайд имеет все основания жаловаться на ее обращение с ним. Вышел же я оттуда, в глубине души желая, чтобы она поймала его на слове и потребовала разрыва помолвки. Человек моих лет и опытности не должен был бы колебаться таким образом. Я не стану оправдывать себя, я могу говорить только правду и говорю, что это было так.

Час моего отъезда приближался. Я послал сказать мистеру Фэрли, что зайду попрощаться с ним, если ему будет угодно, но что он должен заранее извинить меня, поскольку я спешу и наше свидание будет коротким. Он прислал мне ответ, написанный карандашом на полоске бумаги:

*Сердечно кланяюсь и желаю Вам всего лучшего, дорогой Гилмор. Поспешность любого рода чрезвычайно пагубна для меня. Ради всего святого, берегите себя! Прощайте.*

Перед самым моим отъездом я ненадолго встретился наедине с мисс Холкомб.

– Вы сказали Лоре все, что хотели? – спросила она.

– Да, – ответил я. – Она была очень слаба и сильно нервничала. Я рад, что у нее есть вы, чтобы позаботиться о ней.

Проницательные глаза мисс Холкомб внимательно изучали мое лицо.

– Вы, кажется, переменили свое мнение о Лоре, – сказала она. – Сегодня вы более снисходительны к ней, чем вчера.

Ни один здравомыслящий мужчина не станет, не будучи подготовленным, вступать в словесные препирательства с женщиной, а посему я только и ответил:

– Дайте мне знать, как сложатся дела. Я не стану ничего предпринимать до того, как получу от вас весточку.

Она по-прежнему очень серьезно смотрела на меня:

– Мне хотелось бы, чтобы все это поскорее кончилось, и кончилось хорошо. Вероятно, и вы желаете того же, мистер Гилмор.

С этими словами она ушла.

Сэр Персиваль очень вежливо настоял, чтобы проводить меня до экипажа.

– Если вам доведется бывать по соседству с моим поместьем, – сказал он, – пожалуйста, не забудьте, что я искренне желаю познакомиться с вами поближе. Проверенный и надежный старый друг этой семьи будет всегда дорогим гостем в моем доме.

Какой приятный человек – любезный, внимательный, восхитительно свободный от предрассудков гордости – джентльмен с головы до ног. Когда я ехал на станцию, я чувствовал, что с удовольствием сделал бы в интересах сэра Персиваля Глайда все от меня зависящее, кроме составления брачного контракта его жены.

### III

Прошла целая неделя после моего возвращения в Лондон, без каких-либо вестей от мисс Холкомб.

На восьмой день на моем столе среди прочих появилось и письмо, надписанное ее рукой.

В нем сообщалось, что предложение сэра Персиваля Глайда было окончательно принято и что свадьба состоится, как он того и хотел, еще до конца этого года. По всей вероятности, брачная церемония совершится в последних числах декабря. Двадцать один год исполнится мисс Фэрли только в марте, следовательно она станет женой сэра Персиваля за три месяца до своего совершеннолетия.

Мне не следовало бы ни удивляться, ни огорчаться, и тем не менее я был удивлен и огорчен. К этим чувствам примешивалось разочарование, вызванное неудовлетворительной краткостью письма мисс Холкомб, что окончательно расстроило меня на целый день. В шести строках своего письма моя корреспондентка уведомляла меня о принятом предложении, в следующих трех – о том, что сэр Персиваль уехал из Камберленда к себе домой, в Хэмпшир, а в двух последних предложениях сообщала, во-первых, что Лоре необходима перемена обстановки и более веселое общество и, во-вторых, что по этой причине мисс Холкомб решила

отправиться вместе с сестрой в Йоркшир, в гости к старым друзьям. На этом письмо заканчивалось, несколько не разъяснив обстоятельств, вынудивших мисс Фэрли принять предложение сэра Персиваля Глайда всего через неделю после того, как я видел ее в последний раз.

Впоследствии мне рассказали о причине этого неожиданного решения. Однако не стану рассказывать обо всем этом с чужих слов. События происходили на глазах мисс Холкомб, и, когда наступит черед ее повествования, она опишет их со всеми подробностями, именно так, как они развивались на самом деле. Но прежде чем я отложу перо и предоставлю другим продолжать рассказ, я, в свою очередь, считаю своим долгом описать одно дело, имеющее отношение к предстоящему замужеству мисс Фэрли, в котором я принимал непосредственное участие, а именно: составление ее брачного контракта.

Упомянув об этом документе, дабы быть правильно понятым, я непременно должен пояснить некоторые подробности относительно материального положения невесты. Я постараюсь изложить их кратко и просто, воздержавшись от использования профессиональной терминологии. Это обстоятельство чрезвычайно важно. Предупреждаю всех, кто читает эти строки, что наследство мисс Фэрли играет существенную роль в ее истории и что, если они хотят понять суть описываемых событий, им совершенно необходимо знать то, что известно мне.

Наследство мисс Фэрли было двоякого рода: оно состояло из возможной части, поместья, которое отойдет к ней лишь после смерти дяди, и безусловной части, денег, которые она должна была получить после своего совершеннолетия.

Поговорим сначала о поместье.

При деде мисс Фэрли по отцовской линии (назовем его мистером Фэрли-старшим) Лиммериджское поместье переходило от одного из членов этого семейства к другому на следующих основаниях.

Мистер Фэрли-старший умер, оставив трех сыновей: Филиппа, Фредерика и Артура. На правах старшего сына поместье наследовал Филипп. Если бы он умер, не оставив сына, поместье должно было перейти ко второму брату, Фредерику, а если бы и Фредерик также умер, не оставив наследника мужского пола, поместье перешло бы во владение к третьему брату, Артуру.

Случилось так, что мистер Филипп Фэрли умер, оставив только одну дочь Лору, героиню этого повествования, и поместье, разумеется, перешло по закону ко второму брату, Фредерику, человеку одинокому. Третий брат, Артур, умер задолго до кончины Филиппа, оставив сына и дочь. Сын его в возрасте восемнадцати лет утонул в Оксфорде. Таким образом, Лора, дочь мистера Филиппа Фэрли, имела весьма вероятную возможность получить поместье после смерти своего дядюшки, если бы он умер, не оставив наследника мужского пола.

Только женитьба мистера Фредерика Фэрли и появление на свет его наследника (впрочем, ни того ни другого от него никак нельзя было ожидать) могли бы помешать его племяннице Лоре получить поместье после его смерти, но – это необходимо еще раз напомнить – только в пожизненное владение. Если бы она умерла незамужней или бездетной, поместье перешло бы к ее кузине Магдалене, дочери мистера Артура Фэрли. Если бы она вышла замуж, позаботившись о надлежащем брачном контракте – иными словами, о контракте, который я намерен составить для нее, – доход с имения (добрых три тысячи фунтов стерлингов в год) был бы при жизни в ее полном распоряжении. Если бы она умерла раньше своего супруга, он, естественно, мог бы рассчитывать на этот доход, но тоже только пожизненно. Если бы у нее родился сын, в таком случае именно этот сын наследовал бы Лиммериджское поместье вместо ее двоюродной сестры Магдалены. Таким образом, женитьба на мисс Фэрли сулила сэру Персивалю Глайду (в той части ее наследства, которая связана с поместьем) двойную выгоду после смерти мистера Фредерика Фэрли: во-первых, пользование тремя тысячами в год (с позволения его жены, пока она жива, и по собственному разумению после ее смерти, если он переживет ее) и, во-вторых, наследование Лиммериджа его сыном, если таковой у него родится.

Вот все, что касается наследуемой собственности и доходов от поместья в случае замужества мисс Фэрли. До сих пор у нас с поверенным сэра Персиваля не возникало никаких затруднений или расхождений во мнении относительно условий брачного контракта.

Далее мы обратимся к вопросу о деньгах, наследуемых мисс Фэрли лично после того, как ей исполнится двадцать один год.

Эта часть ее наследства сама по себе представляла целое состояние. Оно переходило к ней по завещанию ее отца и достигало суммы в двадцать тысяч фунтов. Помимо этого, она имела пожизненный доход еще с десяти тысяч фунтов стерлингов, которые после ее смерти должны были перейти к ее тетке Элеоноре, единственной сестре ее отца. Необходимо представить дела семьи Фэрли для читателей в самом ясном свете, и я остановлюсь здесь на мгновение для того, чтобы объяснить, почему вышеозначенная сумма перейдет тетке мисс Фэрли только после смерти племянницы.

Мистер Фэрли был в прекрасных отношениях со своей сестрой Элеонорой до тех пор, пока она оставалась незамужней. Но когда она вышла замуж, довольно уже поздно, за одного итальянского джентльмена по фамилии Фоско – или, правильнее сказать, за знатного итальянца, поскольку он с гордостью именовал себя графом, – мистеру Фэрли так не понравился этот брак, что он прекратил все сношения со своей сестрой и даже вычеркнул ее имя из своего завещания. Другие члены семьи сочли это серьезное проявление его негодования, вызванного замужеством сестры, более или менее необоснованным. И хотя граф Фоско не был богат, но и к числу бедных авантюристов он тоже не относился. Он имел небольшой, но достаточный доход. Он прожил в Англии много лет и занимал прекрасное положение в обществе. Подобная рекомендация, однако, ничего не значила в глазах мистера Фэрли. Во многих своих суждениях он был англичанином старой школы и терпеть не мог иностранцев единственно и исключительно потому, что они иностранцы. Все, на что его удалось уговорить впоследствии – главным образом благодаря вмешательству мисс Фэрли, – это восстановить имя сестры в завещании, однако же он заставил ее ждать наследства, отказав доход с денег своей дочери пожизненно, а деньги, если тетка умрет раньше племянницы, кузине мисс Фэрли, Магдалене. Принимая во внимание года обеих дам, становится очевидным, что возможность тетки получить десять тысяч фунтов является в высшей степени сомнительной, и мадам Фоско так рассердилась на брата, что даже не захотела видаться с племянницей, отказываясь верить, что только вмешательство мисс Фэрли заставило мистера Филиппа Фэрли вернуть имя сестры в завещание.

Такова история десяти тысяч фунтов. В этом отношении со стороны поверенного сэра Персиваля также не могло возникнуть никаких затруднений: доход с этой суммы оставался в распоряжении жены сэра Персиваля, а после ее смерти деньги наследовала ее кузина или тетка.

Теперь все предварительные пояснения сделаны, и я перехожу наконец к главному пункту, составляющему истинную суть дела, – к двадцати тысячам фунтов.

Эта сумма переходила в полную собственность мисс Фэрли по достижении ею двадцати одного года, после чего мисс Фэрли могла распоряжаться ею в соответствии с условиями, которые мне удастся выговорить в ее пользу при составлении брачного контракта. Прочие пункты, заключающиеся в этом документе, носили исключительно формальный характер, и о них здесь нет нужды упоминать. Однако пункт, относящийся к этой сумме, настолько важен, что не может быть пропущен мной. Впрочем, достаточно будет нескольких строчек, чтобы дать все необходимые пояснения по этому вопросу.

Условия, которые я намеревался обсудить в связи с этими двадцатью тысячами, были следующими: проценты со всего капитала должны были давать пожизненный доход самой леди, а затем – сэру Персивалю, так же пожизненно, капитал же наследовали дети, появившиеся на свет от этого брака. В случае бездетности мисс Фэрли и сэра Персиваля леди могла распорядиться капиталом по собственному усмотрению, с этой целью я оставлял за ней право составить завещание. На деле это означало, что, если бы леди Глайд умерла, не оставив детей, ее

сводная сестра и те родственники и друзья, кого она пожелала бы облагодетельствовать, после смерти ее мужа получили бы суммы, которые им были завещаны, разделив капитал леди в соответствии с ее волей. Если бы, наоборот, после нее остались дети, в таком случае, самым естественным и неременным образом, весь капитал перешел бы к ним. Таковы были условия, и всякий, кому довелось прочесть их, полагая, согласится со мной, что они в равной степени учитывали интересы всех сторон.

Посмотрим, как мое предложение было принято будущим мужем и его поверенным.

Когда мне доставили письмо мисс Холкомб, я был занят больше обычного. Однако я сумел выкроить время для составления контракта. Я подготовил и отправил его на одобрение поверенному сэра Персиваля Глайда менее чем через неделю после того, как мисс Холкомб уведомила меня о назначении даты свадьбы.

Через два дня документ был возвращен ко мне с пометками и замечаниями поверенного баронета. Возражения его главным образом были пустяковыми и чисто технического свойства, пока он не дошел до пункта, относившегося к двадцати тысячам фунтов. Против этого пункта было написано и дважды подчеркнуто красными чернилами следующее:

*Неприемлемо. Капитал переходит к сэру Персивалю Глайду в случае, если он переживет леди Глайд, и обсуждению это не подлежит.*

То есть ни одного фартинга из двадцати тысяч не должно было достаться мисс Холкомб, а равно и другим родственникам или друзьям леди Глайд. Вся сумма, если она умрет бездетной, попадала в карман ее мужа.

В ответ на это дерзкое требование я написал коротко и резко:

*Дорогой сэр! Относительно брачного контракта мисс Фэрли. Оставляю пункт, против которого Вы возражаете, в неизменном виде. Искренне Ваш.*

Ответ пришел через четверть часа.

*Дорогой сэр! Относительно брачного контракта мисс Фэрли. Оставляю подчеркнутое красными чернилами замечание, против которого Вы возражаете, в неизменном виде. Искренне Ваш.*

В этой перебранке мы оба зашли в тупик, и нам не оставалось ничего другого, кроме как обсудить ситуацию каждому со своим клиентом.

Моим клиентом, поскольку мисс Фэрли еще не исполнился двадцать один год, был мистер Фредерик Фэрли, ее опекун. С первой же почтой я отправил ему письмо, в котором изложил суть дела; в нем я приводил не только все возможные доказательства, дабы заставить мистера Фэрли настоять на предложенной мной формулировке этого пункта, но прямо указывал ему на корыстолюбивый мотив, скрывавшийся за нежеланием жениха и его поверенного принять означенные мной условия относительно двадцати тысяч фунтов. Положение дел сэра Персиваля слишком ясно показало, что на его поместье лежали огромные долги и что доходы его, хотя номинально весьма значительные, в действительности, особенно для человека его положения, сводились к нулю. Сэр Персиваль крайне нуждался в наличных деньгах, и несогласие его поверенного с данным пунктом брачного контракта было не чем иным, как откровенно эгоистичным подтверждением этого факта.

Ответ от мистера Фэрли я получил на следующий день; он оказался до крайности бесвязным и неуместным. Если обратиться к удобопонятному языку, вот как можно было бы передать его суть:

*Не будет ли дорогой Гилмор столь любезен, чтобы не беспокоить своего друга и клиента такими пустяками, как то, что может случиться в отдаленном будущем? Может ли стать, чтобы молодая женщина двадцати одного года от роду умерла раньше сорокапятилетнего мужчины, к тому же умерла бездетной? С другой стороны, можно ли переоценить в нашем суетном мире важность таких вещей, как покой и безмятежность? Если два этих небесных дара предлагаются в обмен на такую сущую земную малость, как отдаленная в будущем перспектива располагать двадцатью тысячами, разве это не выгодная сделка? Конечно да. Так почему же не заключить ее?*

Я с отвращением отбросил от себя это письмо. Как только оно полетело на пол, в дверь постучали, и затем на пороге появился поверенный сэра Персиваля мистер Мерримен. На свете есть много разновидностей ловких дельцов от юриспруденции, однако, на мой взгляд, труднее всего иметь дело с теми из них, кто обманывает вас с видом самого веселого добродушия. Безнадеее всего случаи, когда приходится иметь дело с толстыми, упитанными, дружелюбно улыбающимися коллегами. Мистер Мерримен принадлежал к этому классу.

– Как поживаете, добрейший мистер Гилмор? – начал он, весь сияя от собственной любезности. – Рад видеть вас в таком превосходном здравии. Я проходил мимо и решил зайти к вам на случай, если вам есть что сказать мне. Давайте же, прошу вас, разрешим наше маленькое затруднение изустно, если удастся. Вы уже получили ответ от своего клиента?

– Да, а вы?

– Ах, дорогой, добрейший мистер Гилмор, как бы я желал иметь от него известие, как бы я желал, чтобы он снял с меня ответственность в этом деле, но он настолько упрям – или лучше сказать, настолько непоколебим, что не сделает этого. «Мерримен, у вас есть все мои распоряжения. Поступайте, как сочтете нужным для соблюдения моих интересов, и считайте, что я устранился из этого дела до тех пор, пока с ним не будет покончено». Вот что сказал мне сэр Персиваль две недели назад и продолжает повторять, несмотря на все мои попытки переубедить его. Как вам известно, по природе своей я человек мягкий, уступчивый. Уверяю вас, что лично я хотел бы вычеркнуть собственное замечание сию же секунду. Но поскольку сэр Персиваль не желает вмешиваться в это дело, поскольку сэр Персиваль слепо предоставляет попечение о своих интересах мне, разве могу я отступить и не настаивать на предложенной мной поправке? Мои руки связаны – разве вы не видите этого, мой дорогой сэр, – мои руки связаны!

– Значит, вы по-прежнему настаиваете на своей поправке к известному пункту договора?

– Да, черт возьми! Мне больше ничего не остается. – Он подошел к камину погреться, напевая роскошным басом какую-то сложную мелодию. – Что говорит ваша сторона, – продолжил он, – прошу вас, скажите, каково решение вашего клиента?

Мне было стыдно сообщить ему правду. Я попытался выиграть время и сделал даже больше того. Профессиональные инстинкты взяли надо мной верх, и я попытался сторговаться с ним.

– Двадцать тысяч фунтов стерлингов – сумма слишком большая, чтобы родственники мисс Фэрли согласились уступить ее по прошествии всего лишь двух дней, – сказал я.

– Весьма справедливо, – ответил мистер Мерримен, задумчиво разглядывая собственные ботинки. – Прекрасно сказано, сэр, прекрасно сказано!

– Полюбовная сделка, равно выгодная для родных невесты и для жениха, вероятно, не так бы испугала моего клиента, – продолжал я. – Ну же, возникшее затруднение можно легко разрешить, стоит нам немного поторговаться. Каков ваш минимум?

– Наш минимум, – ответил мистер Мерримен, – девятнадцать тысяч девятьсот девяносто девять фунтов девятнадцать шиллингов одиннадцать пенсов и три фартинга. Ха-ха-ха! Извините меня, мистер Гилмор. Не могу сдержаться, чтобы не пошутить при случае.

– Милая шутка, – заметил я. – Она стоит того самого фартинга, ради которого отпущена.

Мистер Мерримен был в восторге. Он громко расхохотался, услышав мой ответ. Мне же было вовсе не до шуток, и я снова вернулся к разговору о деле, желая закончить наше свидание.

– Сегодня пятница, – сказал я. – Подождите нашего окончательного ответа до вторника.

– Всенепременно, – ответил мистер Мерримен. – И даже дольше, если потребуется. – Он взял шляпу, собираясь выйти, но затем снова обратился ко мне: – Кстати, ваши клиенты из Камберленда более ничего не слышали о женщине, написавшей анонимное письмо?

– Более ничего, – ответил я. – А вы не отыскиали ее?

– Пока нет, – ответил мой коллега. – Но мы не отчаиваемся. Сэр Персиваль подозревает, что некто прячет ее, и мы следим за этим некто.

– Вы говорите о старухе, которая была с ней в Камберленде? – спросил я.

– Во все нет, сэр, – ответил мистер Мерримен. – Мы еще не успели зацапать эту старуху. Наш «некто» – мужчина. Мы не спускаем с него глаз здесь, в Лондоне, и мы сильно подозреваем, что это именно он помог ей сбежать из сумасшедшего дома. Сэр Персиваль хотел было тотчас же расспросить его, но я сказал: «Нет. Расспросы только заставят его насторожиться – надо выждать и понаблюдать за ним». Посмотрим, что будет дальше. Эту женщину опасно оставлять на свободе, мистер Гилмор: никто не знает, что она может еще натворить. Всего хорошего, сэр. Во вторник надеюсь иметь удовольствие получить от вас известие. – Он любезно улыбнулся и вышел.

В последней части разговора я был несколько рассеян. Я так беспокоился насчет брачного контракта, что почти не мог сосредоточиться ни на чем другом. Оставшись снова один, я принялся обдумывать, как мне следует поступить теперь.

Если бы дело касалось любого другого из моих клиентов, я исполнил бы данные мне распоряжения, как бы ни были они неприятны мне лично, и немедленно перестал бы думать о двадцати тысячах. Но когда речь шла о мисс Фэрли, я не мог действовать с таким деловым равнодушием. Я был по-настоящему привязан к ней и искренне восхищался этой девушкой; я с признательностью вспоминал ее отца, моего друга и доброго покровителя. Составляя брачный контракт, я испытывал к ней те же чувства, которые неизбежно испытывал бы, не будь я старым холостяком, к своей родной дочери. Я определил для себя, что стану, не жалея собственных сил, защищать ее интересы. Писать мистеру Фэрли второй раз нечего было и думать: он только снова ускользнул бы из моих рук. Возможно, личное свидание, во время которого я постарался бы переубедить его, принесло бы больше пользы. На следующий день была суббота. Я решил купить билеты и растряссти мои старые кости по пути в Камберленд в надежде склонить мистера Фэрли к справедливому, непредубежденному и благородному поступку. Конечно, надежда моя была очень слаба, но я полагал, что, когда испробую это последнее средство, совесть моя будет чиста. В этом случае я сделаю все, что только может сделать человек в моем положении ради защиты интересов единственной дочери своего старого друга.

В субботу погода была прекрасная: дул легкий западный ветерок, ярко сияло солнце. Чувствуя в последнее время вновь возобновившуюся сильную пульсацию в висках и головные боли, о которых меня серьезно предостерег мой доктор еще два года тому назад, я принял решение воспользоваться возможностью и пройтись пешком до вокзала на Юстон-сквер, отправив багаж впереди себя. Когда я вышел на улицу Холборн, какой-то джентльмен, передвигавшийся скорым шагом, вдруг остановился и заговорил со мной. Это был мистер Уолтер Харттрайт.

Если бы он не поприветствовал меня первым, я, конечно, прошел бы мимо него. Он так изменился, что я с трудом узнал его. Лицо его было бледным и изможденным, движения –

торопливыми и неуверенными, а его одежда, как мне помнится, такая опрятная и даже щеголеватая в его бытность в Лиммеридже, выглядела теперь столь неряшливо, что мне было бы стыдно, если бы в таком виде появился на людях один из моих клерков.

– Давно вы вернулись из Камберленда? – поинтересовался он. – На днях я получил письмо от мисс Холкомб. Я знаю, что объяснение сэра Персиваля Глайда было найдено удовлетворительным. Скоро ли состоится свадьба? Известно вам об этом, мистер Гилмор?

Он говорил так быстро, так странно и беспорядочно громоздил свои вопросы один на другой, что я едва понимал его. Насколько бы коротко он ни сошелся с семейством Фэрли, я, однако, не считал, что он имел хоть какое-то право интересоваться их частными делами, и потому решил, по возможности деликатно, прервать его расспросы о предстоящей свадьбе мисс Фэрли.

– Поживем – увидим, мистер Хартрайт, – сказал я, – поживем – увидим! Полагаю, самое правильное будет следить за свадебными объявлениями в газетах. Простите мое замечание, но мне искренне жаль видеть вас не в таком хорошем здравии, как при нашей последней встрече.

В этот момент по лицу молодого человека пробежала нервная судорога, так что я было начал упрекать себя за то, что ответил ему так сдержанно.

– Я не имею права спрашивать о ее свадьбе, – сказал он с горечью. – Как всем другим, мне нужно дожидаться сообщения о ней в газетах... Да, – продолжал он, прежде чем я успел принести ему свои извинения, – в последнее время я не очень хорошо себя чувствую. Я собираюсь за границу, дабы переменить обстановку и профессию. Мисс Холкомб, воспользовавшись своим положением в обществе, любезно посодействовала мне в этом; предоставленные мной рекомендации сочли удовлетворительными. Это довольно далеко, но мне безразлично, куда ехать, какой там будет климат и сколько мне предстоит там пробыть. – Говоря это, мистер Хартрайт подозрительно озирался на толпы прохожих, двигавшихся в обе стороны, словно полагал, что кто-то из этих людей следит за нами.

– Желаю вам легкого пути и скорейшего возвращения, – сказал я и затем добавил, дабы не держать молодого человека на расстоянии вытянутой руки от дел семейства Фэрли: – Я сегодня еду в Лиммеридж по делам. Мисс Холкомб и мисс Фэрли уехали погостить к каким-то друзьям в Йоркшир.

Глаза молодого человека сверкнули, он хотел было что-то сказать в ответ, но по его лицу снова пробежала та же нервная судорога. Он взял меня за руку, крепко пожал ее и исчез в толпе, не произнеся больше ни слова. Хотя он и был для меня почти чужим человеком, с минуту я стоял на месте, с сожалением глядя ему вслед. Благодаря моей профессии я довольно хорошо разбираюсь в молодых людях, чтобы по внешним признакам суметь определить, когда они сбиваются с пути, и теперь с сожалением должен заметить, что, продолжая свой путь к железной дороге, я более чем усомнился в благополучной будущности мистера Хартрайта.

#### IV

Отправившись с дневным поездом, я приехал в Лиммеридж к ужину. В доме царила гнетущая пустота и скука. Я надеялся, что в отсутствие молодых леди компанию мне составит добрейшая миссис Вэзи, но она простудилась и не выходила из своей комнаты. Увидев меня, слуги так удивились, что начали спешить и суетиться самым нелепым образом, отчего надеждами разных досадных ошибок. Даже дворецкий, достаточно старый и умудренный опытом, чтобы понимать, что делает, подал мне бутылку с портвейном охлажденной. Вести о здоровье мистера Фэрли были такими же, как всегда, а когда я послал сообщить ему о моем приезде, он велел передать, что будет счастлив видеть меня, но не раньше завтрашнего утра, поскольку неожиданное известие о моем приезде на весь оставшийся вечер повергло его в прострацию, нещадно усилив сердцебиение. Ветер уныло стонал всю ночь; то там, то здесь в пустом доме



были слышны странный треск и скрип. Спал я ужасно дурно и, проснувшись в прескверном настроении, в одиночестве позавтракал в столовой.

В десять часов меня проводили к мистеру Фэрли. Он ожидал меня в своей обычной комнате, в своем обычном кресле, пребывая в своем обычном все ухудшающемся состоянии души и тела. Когда я вошел, его камердинер стоял перед ним, удерживая на весу тяжелую папку с гравюрами, такую длинную и широкую, как мой письменный стол. Несчастный иностранец скалил зубы самым подобострастным образом, однако от усталости он едва держался на ногах, в то время как его хозяин преспокойно пролистывал гравюры, выискивая в них скрытые красоты с помощью увеличительного стекла.

– Вы лучший из добрых старых друзей, – проговорил мистер Фэрли, лениво откидываясь на спинку кресла, прежде чем взглянуть на меня. – Вы совершенно здоровы? Как это мило, что вы приехали навестить меня в моем одиночестве, дорогой Гилмор!

Я надеялся, что при моем появлении камердинер будет отослан, но ничуть не бывало. Он продолжал стоять перед креслом своего хозяина, дрожа под тяжестью папки, а мистер Фэрли продолжал преспокойно сидеть, вертя увеличительное стекло меж своих белых пальцев, и перелистывать гравюры.

– Я приехал поговорить с вами об одном очень важном деле, – сказал я, – а посему, простите мою просьбу, полагаю, нам лучше побеседовать наедине.

Несчастный камердинер взглянул на меня с благодарностью. Мистер Фэрли с неописуемым удивлением повторил мои последние слова:

– «Побеседовать наедине»...

Я был не расположен шутить и твердо вознамерился дать ему понять, что имею в виду.

– Сделайте мне одолжение, позволив этому человеку удалиться, – сказал я, указывая на камердинера.

Мистер Фэрли поднял брови и сложил губы в саркастическую улыбку.

– «Человеку»? – повторил он. – Вы, должно быть, шутите, старина Гилмор! Что вы хотите сказать, называя его человеком? Какое это имеет к нему отношение? Возможно, он был человеком полчаса назад, прежде чем мне понадобилось взглянуть на гравюры, и снова станет им, когда мне надоест на них смотреть. Но сейчас он просто подставка для собрания гравюр. Разве вам может мешать во время разговора подставка, Гилмор?

– Может, – ответил я строго. – В третий раз, мистер Фэрли, я прошу вас остаться со мной с глазу на глаз.

Мой тон и поведение заставили его выполнить мою просьбу. Он взглянул на камердинера, сердито указал ему на кресло возле себя и сказал:

– Положите гравюры сюда и убирайтесь. Да не потеряйте страницу, на которой я остановился. Вы не закрыли эту страницу? Совершенно уверены, что не закрыли? Вы поставили колокольчик так, чтобы мне было удобно до него дотянуться? Да? Так какого же дьявола вы все еще здесь?

Камердинер ушел. Мистер Фэрли изогнулся в своем кресле, вытер увеличительное стекло носовым платком из тончайшего батиста и продолжил рассматривать гравюры, но уже сбоку. Было трудно сдержаться в подобных обстоятельствах, и все же я сдержался.

– Я приехал сюда, – начал я, – хоть этот визит и доставил лично мне множество неудобств, чтобы быть полезным в деле защиты интересов вашей племянницы и ваших родных, и посему, полагаю, я имею право рассчитывать на несколько минут вашего внимания.

– Не браните меня! – воскликнул мистер Фэрли, беспомощно откидываясь на спинку кресла и закрывая глаза. – Пожалуйста, не браните меня! Я слишком для этого слаб!

Ради Лоры Фэрли я решил не позволить ему вывести меня из себя.

– Моя цель, – продолжал я, – просить вас хорошенько обдумать ваше письмо и не принуждать меня приносить в жертву законные права вашей племянницы и ее родных. Разрешите мне еще раз объяснить вам, как обстоят дела на самом деле. Это будет самый последний раз.

Мистер Фэрли покачал головой и жалобно вздохнул.

– Это жестоко с вашей стороны, Гилмор, очень жестоко, – сказал он. – Ну что же, продолжайте.

Я старательно растолковал ему суть дела, подробно осветив все важные моменты. Во время моего доклада он лежал, откинувшись в кресле с закрытыми глазами. Когда я закончил, он томно открыл их, взял со стола серебряный флакон с нюхательной солью и начал нюхать ее, по всей видимости испытывая некоторое облегчение.

– Добрый Гилмор, – сказал он, продолжая нюхать соль, – как это мило с вашей стороны! Самим своим существованием вы примиряете меня с такой несовершенной человеческой природой!

– Дайте мне простой ответ на простой вопрос, мистер Фэрли. Я еще раз повторяю, что сэр Персиваль Глайд не имеет ни малейшего права ожидать чего-то большего, чем проценты с капитала. Сам же капитал, если у вашей племянницы не родится детей, должен оставаться в ее распоряжении, а после ее смерти перейти к ее родным. Если вы будете на этом настаивать, сэру Персивалю придется уступить. Ему придется, говорю я вам, в противном случае за ним закрепится репутация человека, желающего заключить брак с мисс Фэрли, преследуя исключительно меркантильные интересы.

Мистер Фэрли шутливо помахал нюхательным флаконом в мою сторону:

– Вы, мой добрый старый Гилмор, как же вы ненавидите знатность и титулы! Вы терпеть не можете Глайда, потому что он баронет. Какой же вы радикал, мой бог, какой же вы радикал!

«Радикал!!!» Я был готов стерпеть многое, но, всю свою жизнь придерживаясь незыблемых консервативных принципов, не мог позволить, чтобы меня называли радикалом. Кровь во мне вскипела, я вскочил со своего места, но от негодования не мог произнести ни слова.

– Не сотрясайте стены, – воскликнул мистер Фэрли, – ради бога, не сотрясайте стены! Достойнейший Гилмор, я не хотел вас обидеть. Мои собственные взгляды столь либеральны, что порой мне кажется, будто я сам радикал. Да, мы с вами радикалы. Пожалуйста, не сердитесь. Я не могу ссориться с вами – мне не хватит на это оставшихся во мне жизненных сил. Не прекратить ли нам этот разговор? Да? Подойдите и взгляните на эти чудесные гравюры. Позвольте мне объяснить божественную красоту этих линий. Ну же, мой добрый Гилмор!

Пока он бормотал что-то в этом роде, мне, к счастью, удалось прийти в себя и тем самым сохранить лицо. Когда я заговорил снова, я уже настолько успокоился, что смог отнестись к его дерзости с безмолвным презрением, которого она и заслуживала.

– Вы ошибаетесь, сэр, – сказал я, – предполагая, что я предубежден против сэра Персиваля Глайда. Остается только сожалеть, что он до такой степени доверился в этом деле своему поверенному, что к нему самому теперь нельзя обратиться напрямую. Но, поверьте мне, я не предубежден против него. Мои слова в равной степени могли бы относиться к любому другому человеку, оказавшемуся в подобной ситуации, независимо от его положения. Принцип, который я защищаю, является общепризнанным. Если бы вы обратились в ближайший отсюда город к первому уважаемому юристу, он, даже будучи посторонним человеком для вашей семьи, сказал бы вам то же, что говорю вам я, будучи вашим другом. Он объяснил бы вам, что отдавать деньги девушки человеку, за которого она выходит замуж, против всех правил. Он, исходя из самой обычной, вполне законной предосторожности, ни при каких обстоятельствах не согласился бы поставить интересы мужа в получении двадцати тысяч фунтов в зависимость от жизни или смерти его супруги.

– Неужели, Гилмор? – прервал меня мистер Фэрли. – Если бы он сказал хотя бы вполтину что-нибудь столь же ужасное, уверяю вас, я позвонил бы Луи и велел бы немедленно препроводить его из дома.

– Вам не удастся поколебать моего терпения, мистер Фэрли! Ради вашей племянницы и памяти ее отца я буду сохранять спокойствие. Но прежде чем я покину комнату, вам придется взять всю ответственность за этот возмутительный брачный контракт на себя.

– Не надо, прошу вас, не надо! – сказал мистер Гилмор. – Подумайте, как дорого ваше время, Гилмор, – не тратьте же его понапрасну. Если бы я мог, я бы поспорил с вами, но я не могу, у меня не хватит жизненных сил. Вы хотите вывести из душевного равновесия меня, себя самого, Глайда и Лору, и – о боже! – все это ради того, что, по всей вероятности, вообще никогда не случится. Закончим же на этом, дорогой друг, закончим ради покоя и безмятежности!

– Стало быть, насколько я понимаю, вы остаетесь при своем мнении, выраженном в вашем письме?

– Да. Очень рад, что мы наконец поняли друг друга. Присаживайтесь же, ну же...

Я направился к двери; мистер Фэрли безропотно позвонил в колокольчик. Прежде чем покинуть комнату, я обернулся и в последний раз обратился к нему.

– Что бы ни случилось в будущем, сэр, – сказал я, – помните, я исполнил свой долг и предупредил вас о возможных последствиях. Как верный друг и поверенный вашей семьи, говорю вам на прощание: никогда, ни за кого на свете я не выдал бы свою родную дочь с таким брачным контрактом, какой вы вынуждаете меня составить для мисс Фэрли.

Дверь за моей спиной открылась, и на пороге меня ожидал камердинер.

– Луи, – произнес мистер Фэрли, – проводите мистера Гилмора, а потом возвращайтесь и снова подержите для меня гравюры. Прикажите подать вам хороший обед, Гилмор. Слышите, прикажите моим слугам, этим бездельникам, подать вам хороший обед!

Я чувствовал к нему такое отвращение, что не мог вымолвить в ответ ни слова, – повернувшись на каблуках, я молча вышел из комнаты. На двухчасовом поезде я вернулся в Лондон.

Во вторник я отослал брачный контракт с внесенными изменениями, по которому все те, кого мисс Фэрли желала бы облагодетельствовать, о чем сообщила мне самолично, практически лишались всяческой надежды получить из ее наследства хоть что-нибудь. У меня не было выбора. Другой юрист составил бы этот документ, если бы его отказался составить я.

Труд мой окончен. Мое личное участие в перипетиях этой семейной истории не простирается дальше того пункта, на котором я остановился. Другие будут описывать теперь странные события, случившиеся вскоре после этого. Преисполненный опасениями и печалью, заканчиваю я свой краткий рассказ. Преисполненный опасениями и печалью, повторяю я здесь прощальные слова, произнесенные мной в Лиммеридже: никогда, ни за кого на свете я не выдал бы свою родную дочь с таким брачным контрактом, какой я был вынужден составить для мисс Фэрли.

## Рассказ продолжает Мэриан Холкомб (выписки из ее дневника)

### I

*8 ноября. Лиммеридж*

Сегодня утром мистер Гилмор уехал от нас.

Свидание с Лорой, очевидно, огорчило и удивило его гораздо сильнее, чем он хотел в этом признаться. Я боялась, судя по его лицу и поведению при расставании, что она нечаянно выдала ему истинную причину своего уныния и моего беспокойства. Это сомнение так сильно завладело мной после его отъезда, что я отказалась ехать кататься верхом с сэром Персивалем и вместо этого поднялась в комнату Лоры.

В этих трудных и печальных обстоятельствах я почти перестала доверять самой себе, особенно когда поняла, что недооценила силу несчастной привязанности Лоры. А между тем мне следовало бы знать, что деликатность, сдержанность и благородство, расположившие меня к бедному Уолтеру Хартрайту и завоевавшие мое искреннее восхищение и уважение, были именно теми качествами, которые со всей неотвратимостью привлекут к себе врожденную чувствительность и великодушие Лоры. Однако, пока она сама не раскрыла мне своего сердца, я даже не подозревала, что это новое чувство так глубоко укоренилось в ней. Сначала я подумала, что время и забота о ней изгладят это чувство. Теперь же я начинаю опасаться, что эта привязанность останется в ее сердце навсегда и неизбежно изменит Лору. Осознав, как сильно я ошибалась на этот счет, я стала сомневаться и во всем другом. Я засомневалась в сэре Персивале, несмотря на предоставленные им такие очевидные доказательства. Я даже не решалась поговорить с Лорой. Сегодня утром, стоя у двери в ее комнату, я не знала, стоит ли задать ей мучившие меня вопросы или нет.

Когда я вошла к ней, Лора нетерпеливо ходила по комнате. Раскрасневшаяся и взволнованная, она тотчас подошла ко мне и заговорила прежде, чем я успела вымолвить хоть слово.

– Мне нужно поговорить с тобой, – сказала она. – Посиди со мной. Мэриан, я больше не могу этого выносить! Я должна и хочу покончить с этим!

Щеки ее горели, движения были слишком энергичными, а голос звучал непривычно твердо. Небольшой альбом с рисунками Уолтера Хартрайта – пагубный альбом, над которым она то и дело погружалась в мечтания, стоило ей остаться одной, – был у нее в руках. Я тихонько, но настойчиво забрала его у нее и положила на столик, стоявший возле дивана, на котором мы расположились, так чтобы ей не было видно альбома.

– Расскажи мне спокойно, душа моя, как ты намерена поступить? – сказала я. – Мистер Гилмор дал тебе какой-нибудь совет?

Она отрицательно покачала головой:

– Нет, по крайней мере, не относительно того, что меня сейчас беспокоит. Он был очень ласков и добр ко мне, Мэриан, и мне, право, стыдно, что я расстроила его своими слезами. Я чувствую себя такой беспомощной – не могу сдержаться, чтобы не заплакать. Ради самой себя и всех нас я должна собрать все свое мужество, чтобы покончить с этим.

– Ты имеешь в виду, что тебе понадобится мужество, чтобы разорвать помолвку? – спросила я.

– Нет, – возразила она просто, – чтобы сказать сэру Персивалю всю правду, дорогая.

Она обняла меня и положила голову мне на грудь. На противоположной стене висела миниатюра – портрет ее отца. Я наклонилась к Лоре и заметила, что она смотрит на него.

– Я не могу разорвать свою помолвку, – продолжала она. – Каким бы ни был конец, он в любом случае принесет мне несчастье. Все, что я могу сделать, – это не добавлять себе мучительных воспоминаний о том, как я нарушила данное слово и последнюю волю отца, это лишь увеличило бы мое страдание.

– Но как в таком случае ты хочешь поступить? – спросила я.

– Сказать сэру Персивалю Глайду всю правду, – ответила она, – и предоставить ему возможность самому отказаться от меня, если на то будет его воля, но не потому, что я попросила его об этом, а потому, что ему все известно.

– Что ты подразумеваешь под этим «все», Лора? Сэр Персиваль знает достаточно (так он сказал мне самолично), если речь идет о том, что решение о помолвке противоречило твоим собственным желаниям.

– Но как я могу сказать ему это, ведь отец благословил нас с моего согласия? И я сдержала бы данное слово, может быть, не с радостью, но охотно... – Она замолчала, повернулась ко мне и прижалась щекой к моей щеке. – Я сдержала бы его, Мэриан, если бы в моем сердце не поселилась другая любовь, которой в нем не было, когда я давала обещание стать женой сэра Персиваля.

– Лора, неужели ты унизишь себя подобным признанием?

– Я скорее унижу себя, если скрою от сэра Персиваля то, что он имеет право знать, освобождая меня от обязательств.

– Но у него нет никакого права знать это!

– Ты ошибаешься, Мэриан! Я никого не должна обманывать, и тем более человека, которому отдал меня отец и с которым я помолвлена. – Она поцеловала меня. – Дорогая моя, ты слишком любишь меня и слишком гордишься мной и потому, когда речь идет обо мне, готова простить мне поступки, которые никогда не простила бы самой себе. Уж лучше пусть сэр Персиваль осуждает мое поведение, если того пожелает, нежели я сначала обману его, пусть даже только мысленно, а потом ради собственной выгоды скрою от него эту ложь – не в этом ли низость?!

Я отстранила ее от себя с удивлением. Впервые в жизни мы поменялись ролями: решимость проявляла она, а не я. Я взглянула на бледное, спокойное, безропотное личико; в устремленном на меня взгляде любящих глаз отразилась чистота и невинность ее сердца, отчего жалкие и суетные предостережения и возражения, готовые сорваться с моих губ, замерли, растаяли, утратив свою значимость. Я в молчании склонила голову. Будь я на ее месте, презренная, мелочная гордость, заставляющая столько женщин лгать, взяла бы верх и во мне, также заставив солгать.

– Не сердись на меня, Мэриан, – произнесла Лора, ошибочно истолковывая мое молчание.

Вместо ответа я вновь притянула ее к себе. Я боялась расплакаться, заговорив. Слезы текут у меня не так легко, как у других женщин. Скорее мой плач более походит на мужской, с рыданиями, разрывающими меня на части и пугающими окружающих.

– Много дней я размышляла над этим, – продолжала Лора, заплетая и расплетая мне косы с той детской неугомонностью пальцев, от которой добрейшая миссис Вэзи все еще пыталась избавить ее, столь же терпеливо, сколь безуспешно. – Я обдумала все это очень серьезно и уверена, что мне достанет мужества, ведь совесть подсказывает, что я права. Позволь мне объясниться с ним завтра в твоем присутствии, Мэриан. Я не скажу ничего дурного, ничего такого, за что тебе или мне было бы стыдно, однако мне станет легче на сердце, когда откроется эта несчастная тайна! Я хочу знать и чувствовать, что ни в чем его не обманываю, а уж потом,

когда он выслушает то, что я ему скажу, пусть поступает в отношении меня по собственному усмотрению.

Лора вздохнула и снова положила голову мне на грудь. Дурные предчувствия насчет того, чем может окончиться это объяснение, тяготили меня, и все же, по-прежнему не веря самой себе, я пообещала, что исполню ее желание. Она поблагодарила меня, и мало-помалу мы перешли к разговору о других вещах.

Во время ужина Лора присоединилась к нам и вела себя с сэром Персивалем более неприужденно, чем раньше. После ужина она подошла к фортепиано, выбрав новые ноты, с беглыми, хоть и не слишком мелодичными, и довольно напыщенными произведениями. Чудных мелодий Моцарта, которые так нравились бедному Хартрайту, она ни разу не играла с тех пор, как он покинул Лиммеридж. Этих нот нет больше на этажерке. Лора сама убрала их оттуда, чтобы никто не нашел их и не попросил сыграть.

Мне не представилось возможности оценить, не отказалась ли Лора от своего утреннего намерения, до тех пор, пока она не пожелала сэру Персивалю спокойной ночи: тогда из ее собственных слов я поняла, что она осталась верна своему решению. Очень спокойно она сказала сэру Персивалю, что хочет поговорить с ним завтра, после утреннего чая, и что он застанет ее в ее собственной гостиной, где буду и я. При этих словах сэр Персиваль изменился в лице, и я почувствовала, как дрожат его руки, когда наступила моя очередь прощаться с ним. На следующее утро должна была решиться его судьба, и он, по всей вероятности, сознавал это.

Я вошла к Лоре через дверь, объединявшую наши спальни, чтобы, по обыкновению, пожелать ей перед сном доброй ночи. Наклонившись, чтобы поцеловать ее, я заметила альбом с рисунками Уолтера Хартрайта, спрятанный у нее в изголовье, там, где, будучи еще ребенком, она прятала свои любимые игрушки. У меня не достало духа упрекнуть ее за это, я лишь указала на книгу и покачала головой. Лора притянула меня к себе и прошептала, поцеловав:

– Оставь мне этот альбом сегодня. Завтрашний день может оказаться очень жестоким ко мне, заставив навсегда проститься с ним.

#### 9-е

Первое утреннее событие не добавило мне бодрости. Я получила письмо от бедного Уолтера Хартрайта – ответ на мое, в котором я описывала, как именно сэр Персиваль снял с себя подозрения, вызванные письмом Анны Кэтерик. Хартрайт сдержанно отзывается об объяснениях сэра Персиваля, с горечью замечая, что не имеет права высказывать своего мнения относительно поведения тех, кто стоит выше его. Это грустно, но то, что он сообщает о себе самом, огорчает меня еще больше. Он пишет, что день ото дня ему все тяжелее возвращаться к прежним привычкам и занятиям, и умоляет меня, если я хоть сколько-нибудь принимаю в нем участие, помочь ему найти работу, ради которой ему бы пришлось уехать из Англии, обосновавшись в новой обстановке, среди новых людей. Я тем охотнее постараюсь исполнить его просьбу, что последние строки его письма чрезвычайно встревожили меня.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.